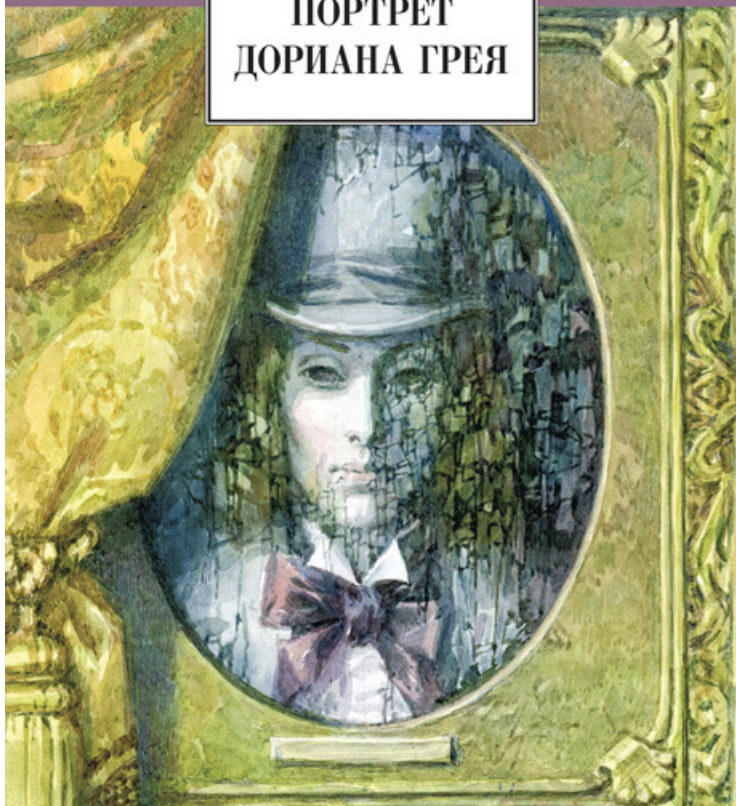


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Оскар Уайльд

ПОРТРЕТ  
ДОРИАНА ГРЕЯ



**Оскар Уайльд**  
**Портрет Дориана Грея**  
Серия «Школьная библиотека  
(Детская литература)»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=7003120](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7003120)*

*Портрет Дориана Грея: роман / Оскар Уайльд ; [пер. с англ. М. Е. Абкиной ; предисл. и коммент. А. М. Зверева] ; худож. Н. Бурдыкина:*

*Астрель; Москва; 2015*

*ISBN 978-5-08-005355-9*

### **Аннотация**

Широко известный роман классика английской литературы.

Для Уайльда всякий человек погружен в реальный поток жизни, зависим от нее и меняется вместе с ней, совершая духовный и этический выбор и принимая ответственность за нее. Однако вот этой зависимости и ответственности и не хочет главный герой. Крушение, к которому приходит Дориан Грей, неотвратимо, как крушение человека, пытавшегося заменить реальность грезой и не оглядывающегося на общечеловеческие нормы.

Для старшего школьного возраста.

# Содержание

Неспасающая красота	5
Портрет Дориана Грея[1]	33
Предисловие	33
Глава I	36
Глава II	59
Глава III	84
Конец ознакомительного фрагмента.	104



Оскар Уайльд

1854—1900

# Оскар Уайльд

## Портрет Дориана Грея

© Зверев А. Н., наследники, предисловие и комментарии, 1998

© Бурдыкина Н. Н., иллюстрации, 2015

© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2015

\* \* \*

# Неспасающая красота

Оскар Уайльд прожил недолго, всего сорок шесть лет. Он умер в Париже в декабре 1900-го. С ним кончилось девятнадцатое столетие – и календарно, и по сути.

Уайльду выпало узнать славу, которая редко достается на долю писателя. Для современников он был больше чем эссеист, драматург и автор сказок. Он был фигурой, воплотившей в себе дух своего времени. Его обожали. Над ним посмеивались. Но больше всего о нем судачили и сплетничали. Длинный шлейф сплетен всегда тянулся за Уайльдом, начиная с тех дней, когда его звезда стояла в зените. И даже посмертно сплетня не оставила его в покое.

Стараниями врагов и жадной до пересудов черни имя Уайльда стало символом порочности. Обвинения ему предъявлялись тяжелые, едва ли не убийственные: растление несовершеннолетних, приверженность однополый любви. Она в Англии столетие назад считалась не только предосудительной и противоестественной, но и не меньше чем преступлением.

В 1895 году состоялся скандальный процесс, за которым последовало тюремное заключение – два с лишним года. Читая протоколы этого разбирательства, ясно видишь, что Уайльд дал достаточный повод для преследования, и все-таки оно было скорее подстроено, чем спровоцировано его

реальной виной. Конечно, он был далеко не безгрешен. Но все же правы те немногие, кто сразу увидел, что писатель в этой истории, главным образом, жертва. Слишком откровенно издевался он над лицемерами, слишком категорично отстаивал безграничную свободу личности. И поэтому не мог не навлечь на себя ненависть всемогущих ханжей.

Однако легенда о его аморализме успела пустить прочные корни. Перед этой легендой отступали, оказываясь беспомощными, и объективность и такт.

На парижском кладбище Пер-Лашез, по пути к могиле Эдит Пиаф, королевы французской песни, туристов непременно проводят мимо покрывшегося мхом камня. Группа останавливается, гид поясняет, что здесь обрел последнее успокоение нашумевший английский писатель, который возбуждал много пересудов своей беспутной жизнью и был предан суду, поскольку оскорблял правила нравственности. О том, что Уайльд написал, не упоминается ни словом. И незачем. Ведь публику интересует связанный с Уайльдом скандал, а не его искусство.

Жужжат магнитофоны, стрекочут кинокамеры. Легко вообразить, как, вернувшись домой, эти туристы будут слово в слово повторять рассказ экскурсовода и демонстрировать слайды. Не пытайтесь переломить эту изустно создаваемую и поддерживаемую репутацию – напрасный труд. «Оскар Уайльд? А, это тот англичанин, который соблазнял мальчиков из хороших семей».

Да никого он не соблазнял, помилуйте! И можно ли так бесцеремонно вторгаться в интимные подробности жизни человека, который себя не защитит, потому что его давно нет на свете? И разве это нравственно – не разобравшись в отшумевшей драме, даже не почувствовав, что была настоящая драма, навешивать грязные ярлыки?

А в основном этим и занимались писавшие об Уайльде мемуаристы, затем – толкователи и исследователи. Жаль, что среди них нашлись люди, чей престиж заслуженно высок. Например, Альбер Камю. Это замечательный французский философ и романист XX века, лауреат Нобелевской премии. Никто не упрекнет его в узости взглядов и понятий. И тем не менее его эссе, посвященное Уайльду, полно слов, которые скорее подошли бы для прокурорской речи.

На взгляд Камю, ничто не извиняет мимолетно прославившегося фланера, модника и себялюбца, каким был Уайльд. А до чего наивна, до чего смешна его вера, будто, дразня обывателей подчеркнутыми странностями своего поведения, он сумеет поколебать пошлые предрассудки и сокрушит окаменевшие устои.

Что до странностей, то Уайльд и в самом деле всех к ним приучил. Он был необычен во всем. Сразу привлекал внимание, появляясь на улицах, – изысканная небрежность костюма, цветок в петлице, перстень со скарабеем – древние египтяне считали этого жука воплощением солнечного божества. Обожал писатель и парадоксы. Таможеннику, потре-

бывавшему заполнить декларацию, когда он приехал в Нью-Йорк, Уайльд сообщил: «Мне нечего туда внести, кроме своего гения». Пресерьезно просил владельца цветочной лавки убрать с витрины примулы, потому что они утомились на солнце. Уверял, что совершенно не ценит свои произведения, хотя в них тщательно продумана и отделана каждая строка, и что больше всего на свете хотел бы разучиться думать, сделаться чистым язычником, жить, как подсказывает природа, и не прислушиваться к велениям интеллекта.

И в творчестве он был точно таким же. Ему доставляло наслаждение, дразня простодушных, вновь и вновь доказывать, что искусство – подобие красивой игрушки: не надо требовать от него уроков мудрости и моральных поучений. Всеми силами он старался показать, что на его страницах серьезность и не ночевала, пусть от него не ждут ничего, кроме остроумия, изобретательности, умения обманывать тех, кто сверх меры поклоняется здравому смыслу. Фантазия, импровизация всегда ценились им выше, чем навык и точный расчет. Недаром Уайльд спел настоящий гимн во славу выдумки в эссе, озаглавленном «Упадок лжи». В нем доказывается, что для настоящего художника ложь намного увлекательнее, чем скучная забота о безупречной правдивости.

Но правда ли все это было только игрой, да еще, как подзревал Камю, с сильной примесью кокетства? Об этом спорят все пишущие об Уайльде и сегодня, хотя прошло более ста лет после его смерти. И у каждого находятся убедитель-

ные аргументы, потому что Уайльд был личностью необыкновенно сложной, может быть, даже уникальной личностью. В нем уживались качества, обычно плохо сочетающиеся одно с другим: блеск изощренного ума и доверчивость, за которую пришлось дорого расплачиваться; жажда непременно казаться оригинальным и детская незамутненность восприятия мира; насмешливость, подчас высокомерие, оттененное снобизмом, – и ранимая душа романтика, всегда ощущающего себя чужим среди будничности. Чувствовал себя так, словно лишь по нелепой ошибке ему выпало родиться и жить в свой уныло-расчетливый век.

Собственную чуждость окружающему Уайльд начал распознавать очень рано. Еще подростком.

Он вырос в Дублине и никогда не отрекался от своих ирландских корней. Но привязанности к родному гнезду не было. Атмосфера неблагополучия царила под крышей его дома. Тяготили натянутые отношения между родителями и деспотизм отца. Как врач, сэра Уильяма стал европейской знаменитостью, он отличался широтой интересов, но характером обладал нелегким – раздражительным и нетерпимым.

Хотя на общем фоне отец, конечно, выделялся. Фон был тусклым. Оскара Уайльда всегда отталкивала душевная загрубелость и черствость тех, с кем приходилось соприкасаться день за днем. Особенно сверстников.

С ними мальчик просто не находил общих интересов. И

они тоже считали, что он странный. Никто не видел его лазающим по деревьям или играющим в регби. Он никогда не дрался, не выносил грубоватых шуточек и уходил в сторону, когда школьные товарищи взахлеб пересказывали друг другу забавные, а то и жестокие истории, вычитанные в приключенческих книжках. Сам он предпочитал чтение трагедий Эсхила, причем в оригинале, по-гречески.

Так продолжалось и в Оксфорде, самом престижном английском университете. Рядом с однокурсниками Оскар казался пришельцем из другой эпохи. Отрешенный взгляд, старинный том под мышкой, франтоватый цилиндр. Комната, уставленная китайским фарфором. Пока юные оксфордцы пропадают на скачках и часами просиживают в пивных, Уайльд обходит лавки антикваров.

Учился он скверно, выручали лишь блестящие способности. Лекции его не интересовали. Кроме тех, когда читали об искусстве, причем без сухомятки ученых терминов и без педантизма, считавшегося приметой высокого академического стиля.

О чем он думал, слушая блестящих оксфордских профессоров той поры, среди которых был Джон Рескин, выдающийся искусствовед и писатель? Наверное, о том, что прав Рескин, убеждающий своих студентов: смотрите, как уродлива нынешняя жизнь, поработанная вульгарностью и практицизмом, чувствуете, как угнетают эти коптящие фабричные трубы, эти пропахшие дымами улицы городов-муравей-

ников, где у людей притупившийся, тусклый взгляд, пустые головы и дряблые мускулы. Смысл жизни, ее высшая цель – хранить и умножать красоту, но современная цивилизация позабыла об этом, поклоняясь ложным богам. Вернется ли утраченная способность не на словах ценить все истинно прекрасное, дорожа богатством и тонкостью впечатлений, которые приносит каждый миг бытия?

Эти слова падали не на бесплодную почву. Вера в благодеяния прогресса и цивилизации, какой ее описывал Рескин, была расшатана, хотя еще далеко не подорвана. Бескрылая логичность переставала увлекать. Не каждый теперь без колебаний повторил бы, что мир подчиняется разумным законам и надо их неумолимо совершенствовать, чтобы в итоге все осознали себя счастливыми. Искать убедительные объяснения всему на свете, оставаясь оптимистами, что бы ни происходило вокруг, – такая позиция начинала восприниматься как несколько старомодная.

В цене было другое – умение видеть и чувствовать жизнь в ее прихотливых, бесконечно изменчивых оттенках, изысканность и полнота восприятия. Искусство, этот «памятник мгновенью», как сказал о нем один из старших современников Уайльда, должно было учить не житейской мудрости, а точности зрения и полноте восприятия. Оно становилось единственным прибежищем от пошлости и скуки, от самонадеянности поборников тоскливой обезличенности, считавшейся синонимом совершенства, от плоского жизнелюбия

преуспевших дельцов. Оно призвано было воспитывать вкус и тем самым – образ мысли, а значит, образ жизни.

Начина лась эпоха, которую назовут не слишком удачно выбранным словом «декаданс». Его буквальный смысл – «упадок», и при сопоставлении с трезвым здравомыслием, уверенностью в своих силах и в будущем, которое не внушало ни малейшей тревоги тем, чья жизнь пришлась на середину девятнадцатого столетия, это и правда был упадок. Хотя вернее было бы сказать по-другому: отказ от таких верований или, по меньшей мере, сомнение в них. Попытка найти другую жизненную ориентацию.

Конечно, эту попытку очень многие в тогдашнем обществе не приняли. Говорили, что за ней не стоит ничего, кроме самолюбования и безответственности. Посыпались упреки в притворстве. Слова о безволии, о неумении и нежелании отыскать достойное жизненное назначение, об опустошенности души и слабости моральных принципов были еще не самыми резкими из обвинений. А главное, не убывала убежденность, что все это только прихоть моды, недолгое поветрие.

Но оказалось, что начинается трудный и болезненный пересмотр представлений не об одном лишь искусстве, а о ценностях человеческой жизни – истинных и мнимых. Что зарождается новый взгляд на мир и на призвание человека. «Вкусить всех плодов, произрастающих в саду планеты» – так об этом скажет Уайльд. Пожалуй, чуточку слишком кра-

сиво. И все-таки очень выразительно, если за его сентенцией мы ощутим суть всего нового умонастроения.

Уайльд считался олицетворением декаданса. Это сильное упрощение: многое он действительно перенял, многое и отверг – был драматический сюжет, а иначе не появился бы «Портрет Дориана Грея», его самая знаменитая книга. Но понять Уайльда, не зная тех веяний, какими ознаменовалась его эпоха, и впрямь сложно. Он был истинным героем своего времени. Жил его надеждами. Разделял его иллюзии. И, не обращая внимания на нападки и насмешки, упорно проповедовал свою фанатичную веру в красоту, которая спасет людей, если они научатся доверять ей одной.

Для него самого это никогда не были только слова.

После университета он поселился в Лондоне и начал сочинять – разумеется, стихи. Тоненькая книжка появилась в 1881 году. Родился писатель.

Стихи Уайльда, сверх меры отточенные, а оттого кажущиеся неживыми, ценят лишь самые преданные почитатели. Гораздо более известны его стихотворения в прозе. Этот цикл открывается стихотворением «Художник». В нем высказаны заветные мысли Уайльда о спасительной миссии искусства. Все эфемерно, кроме этой «радости, пребывающей одно мгновенье», и нет в мире божества, помимо красоты. Никто не относился к подобным мыслям настолько серьезно, как Уайльд, хотя самого его красота не спасла. Да и вряд

ли кого-нибудь могла бы спасти, если говорить не об отвлеченных идеалах, а о реальной жизни.

Однако этого Уайльд не хотел и долгое время не мог признать. Чудо красоты внушало ему священный трепет, и он слагал гимны прекрасному, взирая на художника как на мага, чья власть беспредельна. Художник был для него существом избранным, ответственным только перед своим искусством и талантом, но уж никак не перед моралью, которая чаще всего сводится лишь к назиданиям пошляков; не перед добродетелью, убивающей фантазию и свободу; не перед логикой, оказывающейся простым набором банальностей.

Художник творит красоту, и лишь ее веления для него обязательны. Потому что она одна заключает в себе истину. И не позволяет миру окончательно одряхлеть.

Расплывчатые, порой явно запальчивые высказывания, однако они никогда не превращались под пером Уайльда в пустую декламацию. Он придавал очень серьезное значение своим теориям и наслаждался тем шоковым действием, которое они обычно производили. Его слава юного циника опережала литературную известность, побуждая воспринимать все написанное Уайльдом как дерзкое покушение на моральные устои. А он без труда парировал такую критику, устами одного своего героя заявив, что «сделаться образцом добродетельности проще простого, если принять вульгарное представление о том, что есть добро. Всего-то и нужно проникнуться жалким страхом, позабыть о воображении и о мыс-

ли...».

Ему самому подобные страхи остались неизвестными. Воспевая красоту, он и свою повседневную жизнь старался превратить в служение ей – без оглядки на пересуды, все более злобные год от года. Свою длинную и узкую комнату на Стрэнде, с видом на Темзу, Уайльд украсил развешанными по стенам карандашными портретами известных актеров той поры – их автографы для сохранности были покрыты лаком. На полках непременно красовалось несколько забавных вещей попеременно с изящно оформленными томиками французской поэзии и комплектами журналов по новому искусству. Свежие розы в кувшинах венецианского стекла, сигаретница из яшмы, недописанная рукопись на столе... Жизненный стиль, в котором продумана каждая мелочь и все подчинено одной цели: насколько возможно наполнить будничность поэзией. Той, что, по словам Уайльда, «сродни магическому кристаллу, потому что делает жизнь более прекрасной и менее реальной».

Недоумения и возмущения здравомыслящих его только подзадоривают. Не им ли сказано, что «снисходительность публики достойна удивления... она все готова простить, кроме таланта». И ведь он самым искренним образом убежден, что художник не может считаться с представлениями рядовых людей, что его жизнь должна сотворяться по законам искусства, как и жизнь каждого современно мыслящего человека.

Этих современно мыслящих молодых людей вскоре стали называть денди. Слово было не новым, оно вошло в обиход еще лет за десять до того, как Уайльд появился на свет. Был полузабытый теперь французский прозаик Барбе д'Оревиля, который в 1845 году напечатал очерк об опустившемся аристократе-англичанине, – свое падение этот человек обратил в некий вызов обществу, бравируя собственной независимостью от господствующих понятий и вкусов. Очерк назывался «О дендизме». Жизнь Уайльда стали воспринимать как продолжение описанной в нем истории.

И не без причины. Он тоже не чужд был бравады: с нескрываемым вызовом отверг все то, что считалось свидетельством трезвого ума вкупе с хорошим тоном, объявил своим долгом по любому поводу «не соглашаться с тремя англичанами из четырех». Он дразнил мещан, стараясь их задеть как можно чувствительнее. Его привычки и поступки часто выглядели осознанно экстравагантными, то смеша, то раздражая лондонский бомонд. Лишь очень немногие увидели за этими странностями позицию и убеждение, которые требовали самозабвенной преданности своей главной идее, сколь бы необычными ни оказывались формы, обретенные этой идеей на практике.

Самое грустное в том, что на практике она предоставляла основания для упреков в позерстве, даже для более серьезных – в том, что приверженные такой идее всего лишь комедианты. Они изо всех сил стараются продемонстриро-

вать презрение к толпе и не признают никаких норм и обязательств. Уайльд уподоблял публику чудовищу, впавшему в ярость из-за того, что в его книгах она, как в зеркале, увидела собственный уродливый облик. Но это была заведомо проигранная полемика. Дендизм – это ведь, строго говоря, не философия и даже не позиция, а скорее просто эмоции и настроения, и поэтому ему не дано предложить собственный ответ на серьезные вопросы жизни. А Уайльд отдал дендизму слишком очевидную дань.

Зато он раньше очень многих понял: дендизм непременно скрывает в себе что-то холодное и худосочное, выдавая манерность даже там, где поначалу можно было распознать живое чувство. Для Уайльда не осталось тайной, как далеко может завести соблазн независимости от господствующих взглядов, став главным душевным побуждением. Вокруг него были люди, откровенно похвалявшиеся своей опустошенностью, анемией и безразличием ко всему, за исключением искусства. Этому настроению он сам одно время поддавался едва ли не безоглядно. И конечно, вспоминал самого себя, взявшись за «Портрет Дориана Грея», где оно описано с исчерпывающей полнотой.

Спасая его репутацию, друзья впоследствии утверждали, что для Уайльда дендизм остался только игрой, экспериментом, естественным проявлением артистичной природы. В действительности все намного сложнее. Уайльд увлекся им по-настоящему глубоко и преодолевал его трудно, глубокий

след остался в его книгах, во многом определив их притягательность, как и уязвимость.

Даже восторженные поклонники должны были согласиться с тем, что тепло обыденности с ее заботами, драмами и надеждами оставляло Уайльда равнодушным. Поэтому книги Уайльда иногда кажутся блестяще написанными, но уж слишком далекими от круга жизни, свершающейся день за днем. Эта жизнь его и вправду не интересовала, пока судьба не заставила с ней соприкоснуться напрямик, причем в травмирующем и жестоком обличье. Тюрма была потрясением, перевернувшим его душу, – об этом можно судить по исповедальной книге, написанной под самый конец недолгого творческого пути Уайльда, и по знаменитой балладе, сочиненной им еще в камере.

Но эти замечательные произведения все-таки для него нехарактерны. Его сила как писателя – в непринужденном изяществе, в естественности юмора и парадокса, в остроумии, изобретательности и умении создавать пленительную атмосферу чудесного. Сказка, рожденная фантазией и вдохновением, вероятно, была для него самым органичным жанром.

О. Уайльд выпустил два сборника сказок: «Счастливый принц» в 1888 году и три года спустя – «Гранатовый домик». Сказки предназначались не детям, а скорее взрослым, «которые не утратили дара радоваться и изумляться». Критика

отзывалась об этих книжках прохладно, но теперь они стали бесспорной классикой. Мало кому дано было с такой убедительностью «описать то, чего никогда не было», – так сформулировал свою задачу сам Уайльд. И решал ее очень последовательно, вступая в спор с тогдашней прозой, которая добивалась прямо противоположного эффекта – сходства с действительностью, узнаваемой в каждой подробности рассказа.

Это была принципиальная полемика. Уайльду говорили, что он пишет о пустяках, вместо того чтобы озаботиться серьезными социальными проблемами, что превращает литературу в беспечную забаву. Он возражал: насупленная серьезность – вовсе не ручательство, что писатель создал что-то настоящее. Нужно вернуть ощущение творчества как магии и волшебства. Нужно, чтобы проза стала не просто хроникой или проповедью, а искусством, в котором так много значит выдумка, красочность, гротеск, условность, игра.

Правота в конечном счете была на его стороне. Это подтверждено его реальными свершениями. Сказки Уайльда распахнули перед читателями двери в захватывающий, необычный мир, где красные ибисы подстерегают на отмелях золотых рыбок, а свадебные пиры увенчивает Танец розы. Где чудесные превращения естественны настолько, что их просто не замечают. Где помыслы персонажей всегда несвоекорыстны и у них в помине нет разлада между чувством и поступком.

Хотя бы на мгновение читатель этих сказок забывал о том, как тягостно, как бесцветно существование, подчиненное требованиям житейской выгоды, и переносился в совсем другой мир. Здесь истиной признавалось только исключение, а не правило, только искусство, а не реальность, только фантазия, а не факт. Творческое, артистическое начало провозглашалось высшей ценностью, и самым главным было его высвободить из-под власти косных представлений, из-под гнета внешне разумных, а по существу нелепых общественных порядков. Вот чему хотел Уайльд посвятить свою жизнь.

С ним и еще несколькими писателями того времени в литературу стала возвращаться романтика. Заговорили даже о целом художественном направлении, которое было названо неоромантизмом. Если и правда существовало это направление, то век его оказался коротким. Однако о том, что в искусстве начинаются глубокие перемены, приверженцами романтики, и особенно Уайльдом, было возведено со всей несомненностью. Подошли к концу времена, когда превыше всего ставили способность писателя изображать события и людей так, чтобы получалось «как в жизни». Приблизилось время дерзких экспериментов, и в цене было умение не подражать жизни, а изобретать что-то диковинное, невозможное, но дающее почувствовать тайные связи и соприкосновения вещей как будто совершенно разнородных, хотя художник открывает, что они родственны друг другу.

Уайльд был одним из первых, кто пошел в литературу по этому пути. Было бы натяжкой утверждать, что он создал нечто новое и небывалое, – это не так. Скорее он возвращал или по-своему переосмыслял полузабытые художественные ходы, которые были отлично известны еще на заре девятнадцатого столетия, когда романтизм переживал свои звездные часы. Но его усилия приобретали особый смысл, если вспомнить, какие художественные приоритеты признавала эпоха. Она дорожила фактологией, объективностью, правдоподобием. Уайльд возвеличил воображение, интуицию, грезу. И свое творчество определил как «опыт изображения нынешней жизни в формах, далеких от реального».

Так оно и было, если подразумевать сюжеты да и формы. Уайльд снова и снова создавал что-то очень непривычное для своего времени. Вслед за сказками сочинил большой рассказ о привидении, и очень убедительный по ходу повествования, хотя ирония чувствуется поминутно. Затем ошеломил читателей своей изложенной в виде новеллы версией самого таинственного эпизода из биографии Шекспира: кем была Смуглая леди, к которой обращены сонеты великого мастера? Напечатал стихотворения в прозе, доказав, что можно добиться необыкновенной выразительности в этом жанре, считавшемся чем-то наподобие музейного экспоната. Написал драму, выбрав для нее сюжет из Библии, причем самый рискованный, по тогдашним ханжеским меркам. Да еще написал ее по-французски.

Его изобретательности оставалось только позавидовать. Но фразу о том, что он описывает нечто далекое от реального, следует понимать как метафору, не больше. Реальное отсутствовало в том смысле, что отсутствовали узнаваемые жизненные положения. Но дух времени, конфликты времени – все это напоминало о себе. Даже в сказках.

Достаточно задуматься над теми историями, которые Уайльд рассказывает на страницах обеих своих сказочных книг. Счастливый Принц и Ласточка самоотверженно служат людям, удостоиваясь за это единственной награды – им суждено валяться среди ненужного сора. Соловей принимает смерть во имя любви, а взбалмошная барышня выбрасывает на дорогу цветов, окрашенный его кровью, да еще некий молодой схоласт рассуждает о вздорности чувств и преимуществах логики. Прелестная Инфанта, узнав истинную преданность, не поняла, что это высшее счастье, – она потребовала, чтобы отныне к ней приводили только тех, у кого нет сердца. А Мальчик-звезда, случайный гость нашего мира, осознал, что даже красота способна скрывать в себе зло.

Романтика оказывалась не в ладу с реальными обстоятельствами жизни. Торжествовали те, кто, подобно Волку из сказки Уайльда, были наделены «очень трезвым взглядом на вещи». И расплачивались за торжество ощущением ненужности своей победы. Как Инфанте, она приносила триумфаторам лишь понимание, что они равнодушны ко всему на свете, кроме самих себя.

Скепсис и мечтательность, романтика и насмешливое недоверие к любой восторженности – такое сочетание выглядело, должно быть, самым большим парадоксом из всех, которые прочно срослись с представлением об Уайльде. Но таким он и был – ироничным романтиком, романтически настроенным скептиком. Автором неподражаемых книг, среди которых его единственный роман остается самой значительной и известной.

«Портрет Дориана Грея» был напечатан в 1890 году. Это наиболее бестревожный период в биографии Уайльда. Сказки и необыкновенно остроумные комедии уже составили ему литературное имя: его знают повсюду в Европе. Репутация денди еще не сделалась постыдной славой аморалиста, по большей части на Уайльда смотрят просто как на чудака.

Заботы о благоденствии семьи заставляют его принять на себя обязанности редактора дамского журнала, которому Уайльд старается придать хороший уровень. Семья поначалу кажется на редкость счастливой. Через несколько лет, когда разразится скандал, Констанцию Уайльд вынудят порвать с мужем, и он никогда больше не увидит двух своих сыновей. Кстати, сказки он написал для них.

В обществе Уайльд все чаще появляется вместе с лордом Элфредом Дугласом, юношей поразительной внешности. Никто еще не догадывается, что их дружба станет поводом для самых грязных намеков и сплетен. Что письмо, на-

писанное с обычной для Уайльда поэтической приподнятостью, будет фигурировать в качестве главной улики на суде, куда Дуглас так и не явился. Что обожаемый Бози, как его называли в своем кругу, не окажет никакой поддержки ни узнику Редингской тюрьмы, ни изгнаннику, мучительно угасавшему в жалком парижском пансионе.

Лорд Дуглас был законченным денди, воплощением того человеческого типа, который прошел через многие произведения Уайльда. Чаще всего он представлял в комическом освещении. Так было в двух пьесах, имевших огромный сценический успех, – «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». Уайльд говорил, что несложно прославиться в качестве театрального автора: для этого достаточно навыка «подмечать серьезное в любых пустяках и пустячное во всем серьезном». Слово «серьезный», стоящее в заглавии комедии, которая вот уже более века не сходит со сцены, виртуозно обыграно: по-английски есть так же звучащее мужское имя, а героиня и слышать не желает о муже, которого звали бы по-другому. Возникает много недоразумений, персонажи проявляют замечательную находчивость, при этом сохраняя все отличительные свойства денди, и дело кончается свадебными колоколами.

В романе все совершенно не так, и преобладающая тональность сумрачная, чтобы не сказать – трагическая. Никто из современников не ожидал от Уайльда книги, столь мало отвечающей его известности блистательного, но неглубокого

остроумца. Решили, что книга, во всяком случае, для него нетипична. А между тем у нее немало общего с другими его произведениями, особенно со сказками. И дело не только в том, что «Портрет Дориана Грея» тоже построен на условном, фантастическом сюжете.

Персонажи сказок меняются. В «Счастливом принце» они еще не знают сложностей жизни и, как ни печально приобщение к истинам, мир для них окрашен поэзией и радостью. Ничего этого не остается в «Гранатовом домике». Там все предопределено, там властвует судьба, и она беспощадна.

Этот путь от простодушия к познанию у нас на глазах совершается в «Дориане Грее». И, по словам самого Уайльда, «очень многое скрыто в той теме Рока, которая красной нитью вплетается в золотую парчу» книги.

Рок становится возмездием, оно неотвратимо настигает героя, признавшего наслаждение высшей целью жизни и посвятившего себя погоне за наслаждением, ничему другому. Метафора портрета, центральная в романе, только кажется прозрачной. На самом деле в нее вложен глубокий и не всегда очевидный смысл.

За несколько десятилетий до Уайльда Оноре де Бальзак опубликовал философскую притчу «Шагреновая кожа». Там описана история молодого аристократа, завладевшего покрытым старыми письменами куском кожи, которая обладает магической способностью исполнять все, что ни пожелает владелец. Однако при этом она сжимается все больше и

больше: каждое исполненное желание приближает роковой конец. И в ту минуту, когда у ног героя лежит, ожидая его повелений, чуть ли не весь мир, выясняется, что это ничемное свершение. Остался лишь крохотный лоскуток все-сильного талисмана, а герой теперь «все мог – и не хотел уж ничего».

Бальзак рассказал грустную повесть о растлении легко обольщаемой души. Во многом его рассказ отзывается на страницах Уайльда, однако сама идея возмездия приобретает более сложный смысл.

Это не возмездие за бездумную жажду богатства, которое было синонимом могущества, а значит, своей человеческой состоятельности для Рафаэля де Валантена. Скорее, надо говорить о крахе исключительно притягательной, но все-таки в основании своей ложной идеи, о дерзком порыве, не подкрепленном нравственной твердостью. Тогда сразу возникают другие литературные параллели: уже не Бальзак, а Гёте, его «Фауст» в первую очередь. Очень соблазнительно отождествить Дориана с доктором-чернокнижником из старинной легенды. А Мефистофелем предстанет лорд Генри, тогда как Сибилу Вэйн можно будет воспринять как новую Гретхен.

Но, пожалуй, это слишком прямолинейная трактовка. Да и фактологически она не вполне точна. Известно, как возник замысел романа, – не из чтения, а из непосредственных впечатлений. Однажды в мастерской приятеля-живописца

Уайльд застал натурщика, показавшегося ему самым совершенством. И воскликнул: «Какая жалость, что ему не миновать старости со всем ее уродством!» Художник заметил, что готов переписывать начатый им портрет хоть каждый год, если природа удовлетворится тем, что ее разрушительная работа будет отражаться на полотне, но не на живом облике этого необычайного юноши. Дальше вступила в свои права фантазия Уайльда. Сюжет сложился как бы сам собой.

Это не значит, что Уайльд вовсе не вспоминал о предшественниках. Но действительно, смысл романа не сводится к опровержению той «глубоко эгоистической мысли», пленившей обладателя шагреновой кожи Рафаэля. Он иной и при сопоставлении с идеей, безраздельно владеющей Фаустом, который не желает оставаться земляным червем и жаждет – хотя не может – сравняться с богами, вершащими будущее человечества.

У героев Уайльда нет таких притязаний. Они всегда только хотели бы сохранить юность и красоту непреходящими – вопреки безжалостному закону естества. И это менее всего было бы благодеянием для человечества. Дориан, а тем более лорд Генри – олицетворенный эгоцентризм. Думать о других они попросту не способны. Оба достаточно ясно представляют себе, что вдохновивший их замысел нереален, но восстают против самой этой эфемерности или, по меньшей мере, не желают принять ее во внимание. Есть только культ юности, утонченности, искусства, безупречного художественно-

го чутья, и не имеет значения, что реальная жизнь бесконечно далека от искусственного рая, который они вознамерились для себя создать. Что в этом Эдеме как бы отменены критерии морали. Что он, в сущности, только химера.

Когда-то эта химера обладала неоспоримой властью и над Уайльдом. Он тоже хотел вкусить всех плодов, произрастающих под солнцем, и не заботился о цене такого познания. Но все равно оставалось существенное различие между ним и его персонажами. Да, писатель, подобно своим героям, был убежден, что «цель жизни состоит не в том, чтобы действовать, а в том, чтобы просто существовать». Однако, высказав эту мысль в одном эссе, тут же уточнил: «И не только существовать, а меняться». Вот с этой поправкой сама идея становится совсем не той, как ее понимают и Дориан, и лорд Генри. Ведь они хотели бы нетленной и застывшей красоты, и портрет должен был служить ее воплощением. Но оказался он зеркалом изменений, которых Дориан так страшился. И не мог избежать.

Как не смог он избежать и необходимости судить о происходящем по этическим критериям, сколько бы ни говорилось об их ненужности. Убийство художника остается убийством, а вина за гибель Сибилы остается виной, как бы, с помощью лорда Генри, ни пытался Дориан доказать себе, что этими действиями он лишь оберегал прекрасное от посягательств грубой прозы жизни. И в конечном счете от его выбора зависели итоги, оказавшиеся катастрофическими.

Предпосланная роману страница афоризмов имела для Уайльда почти губительные последствия. Никто не проявил готовности вникнуть в его аргументы, да они и правда были изложены так, что неизбежными становились кривотолки. «Искусство чуждо морали, – заявлял он и шел еще дальше: – Всякое искусство совершенно бесполезно». Как тут было не возмутиться ревнителям полезности и назидательности?

Но они напрасно растрачивали свой обличительный пыл. Если вникнуть в смысл злоключений, испытанных главным героем книги, окажется, что Уайльд создал притчу, наделенную глубоким этическим содержанием. А если при этом он и говорил, что с моралью искусство не связано, то лишь желая покончить с ходячими суждениями о поступках героев, да еще выраженными очень прямолинейно, в лоб, как будто речь идет не о персонажах романа, а о неприятных соседях или о напроказивших юнцах с соседней улицы. Искусство он считал не подчиняющимся морали, но как бы создающим истинную мораль – благодаря тому, что в искусстве явлен пример совершенства, которого не приходится искать в реальной жизни. Оно представляет собой настолько высокий образец, что каждый, кто служит или хотя бы поклоняется ему, тем самым накладывает на себя серьезную обязанность – быть достойным эталона.

Дориан к совершенству стремился, но не достиг. Его банкротство осмыслено как крушение себялюбца. И как расплата за отступничество от идеала, выражающегося в единстве

красоты и правды. Одна невозможна без другой – роман Уайльда говорит именно об этом. А критика сочла, что он восславляет аморальность.

Нечастый случай полной художественной слепоты! Но понадобились десятилетия, чтобы переломить инерцию таких мнений. Рецензии на «Дориана Грея» были затребованы прокурором, который с их помощью доказывал порочность человека, способного написать настолько постыдную книгу. Сегодня это кажется курьезом. Для Уайльда это было тяжелой драмой.

Из тюрьмы он вышел сломленным, измученным человеком, в котором не осталось и следа от щеголеватого лондонского денди, наделенного ярким, но, как полагали, пустым или даже опасным дарованием. Он утверждал, что не в состоянии оглядываться на собственное прошлое, до того оно ему непереносимо. Он говорил, что навсегда покончил с литературой. «Мне незачем писать, – сказал он одному из сохранившихся друзей, – потому что я постиг значение жизни. А писать о ней нельзя, ею можно только жить».

Но даже и на то, чтобы «только жить», у него не осталось сил. Началась агония, воссозданная скупыми свидетельствами людей, оставшихся рядом с ним в последние месяцы и видевших этот печальный закат. Предательство тех, кому он бездумно доверял, нищета, травля, лицемерные вздохи над погубленным талантом и страхи, вызываемые его «растлевающим влиянием», едва скрытое торжество гоните-

лей, узнавших, что его дни сочтены, – вот как завершился его путь.

В предисловии к «Дориану Грейю» было сказано о ярости Калибана, которого заставили увидеть свой истинный облик. У Шекспира в «Буре» Калибан олицетворяет силу косную и злую. Она не исчезла, а, наоборот, только окрепла в доставшийся Уайльду лицемерный век. Но он верил, что искусство, подобно шекспировскому Просперо, сумеет совладать с этой силой, укротить ее, какие бы бури ни приходилось выдерживать творцам истинной красоты.

Судьба Уайльда убеждает, что это была лишь благородная иллюзия. Век не переменился, и даже само искусство не обрело свободы от гнета действительности, внушавшей такое горькое чувство всем, кто не обманывался видимым благополучием, чутко распознавая за этим фасадом обезличенность и пустоту.

Заново сотворить человека, изменив его отношение к миру, в котором художник обнаруживает никем до него не замеченные ценности и смыслы, – такое едва ли под силу даже гению. Но если бы Оскар Уайльд ставил перед собой цели более скромные и традиционные, сама жизнь стала бы в чем-то беднее, лишившись его уникальных книг.

*А. Зверев*

идеям, отличается широтой эмоционального спектра и духовного диапазона – качества, недоступные французскому автору. Для Уайльда характерна свобода в использовании ассоциаций и параллелей, подчас представляющих собой очень вольное изложение тех или иных исторических эпизодов, мифов, преданий, литературных источников. Все подчинено созданию атмосферы, необходимой для изображаемой сцены; заботы о точности в обращении с заимствованным материалом отступают на второй план. Надо учитывать и особое пристрастие писателя к парадоксу, которое иногда заставляет его придавать скорее игровой, чем серьезный характер даже цитатам из библейских текстов, не говоря уже об античных мифах, составивших в романе особый пласт образности. Критические отклики на «Дориана Грея» почти все носили резко отрицательный характер. Высказывались даже требования подвергнуть книгу запрету за «аморальность», а автора по тем же соображениям предать суду. Впадая в полемические крайности, сам Уайльд в одном из интервью готов был признать, что «роман, быть может, и аморален, но он совершенен, а совершенство есть единственное стремление художника». В других своих высказываниях о романе автор, однако, проявил больше сдержанности. Отвечая на рецензию в журнале «Скотс обсервер», где снова говорилось о «безнравственности», он писал редактору: «Ваш рецензент совершает вопиющую, непростительную, преступную ошибку, пытаясь поставить знак равенства между художником и предметом его изображения. Китс (великий поэт-романтик начала XIX в. Джон Китс. – А. З.) заметил, что изображать зло доставляло ему не меньшее наслаждение, чем изображать добро... Чем дальше от художника изображаемое, тем свободнее он может творить». Очевидная справедливость этой мысли тем не менее не поколебала общего враждебного отношения к «Портрету Дориана Грея» Уайльда это не смущало, и свое письмо в «Скотс обсервер» он завершил характерным для него пассажем из тех, что провоцировали гневные отповеди возмущенных блюстителей литературной этики, – «Оставьте мою книгу для вечности, которую она, несомненно, заслуживает». Насколько это несомненно, гораздо легче судить через сто лет после появления книги, которая, по характеру отношения к ней и ее восприятия, особенно в России, кажется, опровергла убеждение ее автора, выраженное им в предисловии и много раз повторенное: «Искусство бесполезно, потому что его цель – лишь создавать настроение. В его задачу не входит ни поучать, ни как-либо влиять на поступки». На самом деле «Дориан Грей» и поучал, и, во всяком случае, оказывал прямое влияние на поступки тех, кто испытал магическую притягательность этой книги.

# Портрет Дориана Грея<sup>1</sup>



## Предисловие

Художник – тот, кто создает прекрасное.

Раскрыть людям себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство.

Критик – это тот, кто способен в новой форме или новыми средствами передать свое впечатление от прекрасного.

Высшая, как и низшая, форма критики – один из видов автобиографии.

Те, кто в прекрасном находят дурное, – люди испорчен-

ные, и притом испорченность не делает их привлекательными. Это большой грех.

Те, кто способны узреть в прекрасном его высокий смысл, – люди культурные. Они не безнадежны.

Но избранник – тот, кто в прекрасном видит лишь одно. Красоту.

Нет книг нравственных или безнравственных. Есть книги хорошо написанные или написанные плохо. Вот и все.

Ненависть девятнадцатого века к Реализму – это ярость Калибана<sup>2</sup>, увидевшего себя в зеркале.

Ненависть девятнадцатого века к Романтизму – это ярость Калибана, не находящего в зеркале своего отражения.

Для художника нравственная жизнь человека – лишь одна из тем его творчества. Этика же искусства – в совершенном применении несовершенных средств.

Художник не стремится что-то доказывать. Доказать можно даже неоспоримые истины.

Художник не моралист. Подобная склонность художника рождает непростительную манерность стиля.

Не приписывайте художнику нездоровых тенденций: ему дозволено изображать всё.

Мысль и Слово для художника – средства Искусства.

Порок и Добродетель – материал для его творчества.

---

<sup>2</sup> *Калибан*. – В драме «Буря» У. Шекспира четвероногий Калибан служит символом темного и враждебного человеку начала; его побеждает Просперо, олицетворяющий разум.

Если говорить о форме, – прообразом всех искусств является искусство музыканта. Если говорить о чувстве – искусство актера.

Во всяком искусстве есть то, что лежит на поверхности, и символ.

Кто пытается проникнуть глубже поверхности, тот идет на риск.

И кто раскрывает символ, идет на риск.

В сущности, Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь.

Если произведение искусства вызывает споры, – значит, в нем есть нечто новое, сложное и значительное.

Пусть критики расходятся во мнениях, – художник остается верен себе.

Можно простить человеку, который делает нечто полезное, если только он этим не восторгается. Тому же, кто создает бесполезное, единственным оправданием служит лишь страстная любовь к своему творению.

Всякое искусство совершенно бесполезно.

*Оскар Уайльд*

# Глава I



Густой аромат роз наполнял мастерскую художника, а когда в саду поднимался летний ветерок, он, влетая в открытую дверь, приносил с собой то пьянящий запах сирени, то нежное благоухание алых цветов боярышника.

С покрытого персидскими чепраками<sup>3</sup> дивана, на котором лежал лорд Генри Уоттон, куря, как всегда, одну за другой бесчисленные папиросы, был виден только куст ракичника – его золотые и душистые, как мед, цветы жарко пылали на солнце, а трепещущие ветви, казалось, едва выдерживали тяжесть этого сверкающего великолепия; по временам на длинных шелковых занавесях громадного окна мелькали причудливые тени пролетающих мимо птиц, создавая на миг подобие японских рисунков, – и тогда лорд Генри думал о желтолицых художниках далекого Токио, стремившихся передать движение и порыв средствами искусства, по природе своей статичного. Сердитое жужжание пчел, пробиравшихся

---

<sup>3</sup> Чепрак – суконная, ковровая или иная подстилка под седло лошади.

в нескошенной высокой траве или однообразно и настойчиво круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось, делало тишину еще более гнетущей. Глухой шум Лондона доносился сюда, как гудение далекого органа.

Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел и художник, тот самый Бэзил Холлуорд<sup>4</sup>, чье внезапное исчезновение несколько лет назад так взволновало лондонское общество и вызвало столько самых фантастических предположений.

Художник смотрел на прекрасного юношу, с таким искусством отображенного им на портрете, и довольная улыбка не сходила с его лица. Но вдруг он вскочил и, закрыв глаза, прижал пальцы к векам, словно желая удержать в памяти какой-то удивительный сон и боясь проснуться.

– Это лучшая твоя работа, Бэзил, лучшее из всего того, что тобой написано, – лениво промолвил лорд Генри. – Непременно надо в будущем году послать ее на выставку в Гровенор<sup>5</sup>. В академию не стоит: академия слишком об-

---

<sup>4</sup> В лице *Бэзила Холлуорда* изображен друг Уайльда – живописец Бэзил Уорд; в его мастерской писатель увидел натурщика, черты которого он придал облику Дориана Грея.

<sup>5</sup> *Грoвeнoр* – частная галерея, служила центром независимой живописи; основанная в 1877 г. поклонником импрессионизма К. Линдсеем, эта галерея, расположенная в центре Лондона, привлекала любителей нового искусства, порвавшего с академической школой. Королевская Академия художеств, образованная

ширна и общедоступна. Когда ни придешь, встречаешь там столько людей, что не видишь картин, или столько картин, что не удастся людей посмотреть. Первое очень неприятно, второе еще хуже. Нет, единственное подходящее место – это Гровенор.

– А я вообще не собираюсь выставлять этот портрет, – отозвался художник, откинув голову, по своей характерной привычке, над которой, бывало, трунили его товарищи в Оксфордском университете. – Нет, никуда я его не пошлю.

Удивленно подняв брови, лорд Генри посмотрел на Бэзила сквозь голубой дым, причудливыми кольцами поднимавшийся от его пропитанной опиумом папиросы.

– Никуда не пошлешь? Это почему же? По какой такой причине, мой милый? Чудаки, право, эти художники! Из кожи лезут, чтобы добиться известности, а когда слава приходит, они как будто тяготятся ею. Как это глупо! Если неприятно, когда о тебе много говорят, то еще хуже, когда о тебе совсем не говорят. Этот портрет вознес бы тебя, Бэзил, много выше всех молодых художников Англии, а старым внушил бы сильную зависть, если старики вообще еще способны испытывать какие-либо чувства.

– Знаю, ты будешь надо мною смеяться, – возразил художник, – но я, право, не могу выставить напоказ этот портрет... Я вложил в него слишком много самого себя.

---

в 1768 г., во времена Уайльда являлась олицетворением консервативности и старомодности.

Лорд Генри расхохотался, поудобнее устраиваясь на диване.

– Ну вот, я так и знал, что тебе это покажется смешным. Тем не менее это истинная правда.

– Слишком много самого себя? Ей-богу, Бэзил, я не подозревал в тебе такого самомнения. Не вижу ни малейшего сходства между тобой, мой черноволосый, суроволицый друг, и этим юным Адонисом<sup>6</sup>, словно созданным из слоновой кости и розовых лепестков. Пойми, Бэзил, он – Нарцисс<sup>7</sup>, а ты... Ну конечно, лицо у тебя одухотворенное и все такое. Но красота, подлинная красота, исчезает там, где появляется одухотворенность. Высокоразвитый интеллект уже сам по себе некоторая аномалия, он нарушает гармонию лица. Как только человек начнет мыслить, у него непропорционально вытягивается нос, или увеличивается лоб, или что-нибудь другое портит его лицо. Посмотри на выдающихся деятелей любой ученой профессии – как они уродливы! Исключение составляют, конечно, наши духовные пастыри, – но эти ведь не утруждают своих мозгов. Епископ в восемьдесят лет продолжает твердить то, что ему внушали, когда он был восемнадцатилетним юнцом, – естественно, что лицо его сохраняет красоту и благообразие. Судя по портре-

---

<sup>6</sup> *Адо́нис* – прекрасный юноша, спутник и возлюбленный Афродиты, богини любви и красоты (*гр. миф.*).

<sup>7</sup> *Нарци́сс* – красавец юноша, который, увидев в воде свое отражение, влюбился в него, от этой любви умер и был превращен богами в цветок (*гр. миф.*).

ту, твой таинственный молодой приятель, чье имя ты упорно не хочешь назвать, очарователен, – значит, он никогда ни о чем не думает. Я в этом совершенно убежден. Наверное, он – безмозглое и прелестное Божье создание, которое нам следовало бы всегда иметь перед собой: зимой, когда нет цветов, – чтобы радовать глаза, а летом – чтобы освежать разгоряченный мозг. Нет, Бэзил, не льсти себе: ты ничуть на него не похож.

– Ты меня не понял, Гарри, – сказал художник. – Разумеется, между мною и этим мальчиком нет никакого сходства. Я это отлично знаю. Да я бы и не хотел быть таким, как он. Ты пожимаешь плечами, не веришь? А между тем я говорю вполне искренне. В судьбе людей, физически или духовно совершенных, есть что-то роковое – точно такой же рок на протяжении всей истории как будто направлял неверные шаги королей. Гораздо безопаснее ничем не отличаться от других. В этом мире всегда остаются в барыше глупцы и уроды. Они могут сидеть спокойно и смотреть на борьбу других. Им не дано узнать торжество побед, но зато они избавлены от горечи поражений. Они живут так, как следовало бы жить всем нам, – без всяких треволнений, безмятежно, ко всему равнодушные. Они никого не губят и сами не гибнут от вражеской руки... Ты знатен и богат, Гарри, у меня есть интеллект и талант, как бы он ни был мал, у Дориана Грея – его красота. И за все эти дары богов мы расплатимся когда-нибудь, заплатим тяжкими страданиями.

– Дориана Грея? Ага, значит, вот как его зовут? – спросил лорд Генри, подходя к Холлуорду.

– Да. Я не хотел называть его имя...

– Но почему же?

– Как тебе объяснить... Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать другим какую-то частицу дорогого тебе человека. И знаешь – я стал скрытен, мне нравится иметь от людей тайны. Это, пожалуй, единственное, что может сделать для нас современную жизнь увлекательной и загадочной. Самая обыкновенная безделица приобретает удивительный интерес, как только начинаешь скрывать ее от людей. Уезжая из Лондона, я теперь никогда не говорю своим родственникам, куда еду. Скажи я им – и все удовольствие пропадет. Это смешная прихоть, согласен, но она каким-то образом вносит в мою жизнь изрядную долю романтики. Ты, конечно, скажешь, что это ужасно глупо?

– Нисколько, – возразил лорд Генри. – Нисколько, дорогой Бэзил! Ты забываешь, что я человек женатый, а в том и состоит единственная прелесть брака, что обеим сторонам неизбежно приходится изощряться во лжи. Я никогда не знаю, где моя жена, и моя жена не знает, чем занят я. При встречах, – а мы с ней иногда встречаемся, когда вместе обедаем в гостях или бываем с визитом у герцога, – мы с самым серьезным видом рассказываем друг другу всякие небылицы. Жена делает это гораздо лучше, чем я. Она никогда не

запутается, а со мной это бывает постоянно. Впрочем, если ей случается меня уличить, она не сердится и не устраивает сцен. Иной раз мне это даже досадно. Но она только подшучивает надо мной.

– Терпеть не могу, когда ты в таком тоне говоришь о своей семейной жизни, Гарри, – сказал Бэзил Холлуорд, подходя к двери в сад. – Я уверен, что на самом деле ты прекрасный муж, но стыдишься своей добродетели. Удивительный ты человек! Никогда не говоришь ничего нравственного – и никогда не делаешь ничего безнравственного. Твой цинизм – только поза.

– Знаю, что быть естественным – это поза, и самая ненавистная людям поза! – воскликнул лорд Генри со смехом.

Молодые люди вышли в сад и уселись на бамбуковой скамье в тени высокого лаврового куста. Солнечные зайчики скользили по его блестящим, словно лакированным листьям. В траве тихонько покачивались белые маргаритки.

Некоторое время хозяин и гость сидели молча. Потом лорд Генри посмотрел на часы.

– Ну, к сожалению, мне пора, Бэзил, – сказал он. – Но раньше, чем я уйду, ты должен ответить мне на вопрос, который я задал тебе.

– Какой вопрос? – спросил художник, не поднимая глаз.

– Ты отлично знаешь какой.

– Нет, Гарри, не знаю.

– Хорошо, я тебе напомню. Объясни, пожалуйста, почему

ты решил не посылать на выставку портрет Дориана Грея? Я хочу знать правду.

– Я и сказал тебе правду.

– Нет. Ты сказал, что в этом портрете слишком много тебя самого. Но ведь это же ребячество!

– Пойми, Гарри. – Холлуорд посмотрел в глаза лорду Генри. – Всякий портрет, написанный с любовью, – это, в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник. И я боюсь, что портрет выдаст тайну моей души. Потому и не хочу его выставлять.

Лорд Генри расхохотался.

– И что же это за тайна? – спросил он.

– Так и быть, расскажу тебе, – начал Холлуорд как-то смущенно.

– Ну-с? Я сгораю от нетерпения, Бэзил, – настаивал лорд Генри, поглядывая на него.

– Да говорить-то тут почти нечего, Гарри... И вряд ли ты меня поймешь. Пожалуй, даже не поверишь.

Лорд Генри только усмехнулся в ответ и, наклонясь, сорвал в траве розовую маргаритку.

– Я совершенно уверен, что пойму, – отозвался он, внимательно разглядывая золотистый с белой опушкой пестик цветка. – А поверить я способен во что угодно, и тем охотнее, чем оно невероятнее.

Налетевший ветерок стряхнул несколько цветков с дере-

вьез; тяжелые кисти сирени, словно сотканые из звездочек, медленно закачались в разнеженной зноем сонной тишине. У стены трещал кузнечик. Длинной голубой нитью на прозрачных коричневых крылышках промелькнула в воздухе стрекоза... Лорду Генри казалось, что он слышит, как стучит сердце в груди Бэзила, и он пытался угадать, что будет дальше.

– Ну, так вот... – заговорил художник, немного помолчав. – Месяца два назад мне пришлось быть на рауте у леди Брэндон. Ведь нам, бедным художникам, следует время от времени появляться в обществе, хотя бы для того, чтобы показать людям, что мы не дикари. Помню твои слова, что во фраке и белом галстуке кто угодно, даже биржевой маклер, может сойти за цивилизованного человека.

В гостиной леди Брэндон я минут десять беседовал с разряженными в пух и прах знатными вдовами и с нудными академиками, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я оглянулся и тут-то в первый раз увидел Дориана Грея. Глаза наши встретились, и я почувствовал, что бледнею. Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. А я не хотел никаких посторонних влияний в моей жизни. Ты знаешь, Генри, какой у меня независимый характер. Я всегда был сам себе хозяин... во всяком случае, до встречи с Дорианом Греем. Ну а тут... не знаю, как и объяс-

нить тебе... Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения. Мне стало жутко, и я уже шагнул было к двери, решив уйти. Сделал я это почти бессознательно, из какой-то трусости. Конечно, попытка сбежать не делает мне чести. По совести говоря...

– Совесть и трусость, в сущности, одно и то же, Бэзил. «Совесть» – официальное название трусости, вот и всё.

– Не верю я этому, Гарри, да и ты, мне думается, не веришь... Словом, не знаю, из каких побуждений, – быть может, из гордости, так как я очень горд, – я стал пробираться к выходу. Однако у двери меня, конечно, перехватила леди Брэндон. «Уж не намерены ли вы сбежать так рано, мистер Холлуорд?» – закричала она. Знаешь, какой у нее пронзительный голос!

– Еще бы! Она – настоящий павлин, только без его красоты, – подхватил лорд Генри, разрывая маргаритку длинными нервными пальцами.

– Мне не удалось от нее отделаться. Она представила меня высочайшим особам, потом разным сановникам в звездах и орденах Подвязки<sup>8</sup> и каким-то старым дамам в огромных диадемах и с крючковатыми носами. Всем она рекомендо-

---

<sup>8</sup> *Орден Подвязки* – высокопочетный орден, был учрежден королем Эдуардом III в 1350 г. во славу Бога, Пресвятой Девы и святого мученика Георгия, покровителя Англии.

вала меня как своего лучшего друга, хотя видела меня второй раз в жизни. Видно, она забрала себе в голову включить меня в свою коллекцию знаменитостей. Кажется, в ту пору какая-то из моих картин имела большой успех, – во всяком случае, о ней болтали в грошовых газетах, а в наше время это патент на бессмертие.

И вдруг я очутился лицом к лицу с тем самым юношей, который с первого взгляда вызвал в моей душе столь странное волнение. Он стоял так близко, что мы почти столкнулись. Глаза наши встретились снова. Тут я безрассудно попросил леди Брэндон познакомить нас. Впрочем, это, пожалуй, было не такое уж безрассудство: все равно, если бы нас и не познакомили, мы неизбежно заговорили бы друг с другом. Я в этом уверен. Это же самое сказал мне потом Дориан. И он тоже сразу почувствовал, что нас свел не случай, а судьба.

– А что же леди Брэндон сказала тебе об этом очаровательном юноше? – спросил лорд Генри. – Я ведь знаю ее манеру давать беглую характеристику каждому гостю. Помню, как она раз подвела меня к какому-то грозному краснолицему старцу, увешанному орденами и лентами, а по дороге трагическим шепотом – его, наверное, слышали все в гостиной – сообщала мне на ухо самые ошеломительные подробности его биографии. Я просто-напросто сбежал от нее. Я люблю сам, без чужой помощи, разбираться в людях. А леди Брэндон описывает своих гостей точь-в-точь как оценщик на

аукционе продающиеся с молотка вещи: она либо рассказывает о них самое сокровенное, либо сообщает вам все, кроме того, что вы хотели бы узнать.

– Бедная леди Брэндон! Ты слишком уж строг к ней, Гарри, – рассеянно заметил Холлуорд.

– Дорогой мой, она стремилась создать у себя «салон», но получился попросту ресторан. А ты хочешь, чтобы я ею восхищался? Ну, бог с ней, скажи-ка мне лучше, как она отозвалась о Дориане Грее?

– Пробормотала что-то такое вроде: «Прелестный мальчик... мы с его бедной матерью были неразлучны... Забыла, чем он занимается... Боюсь, что ничем... Ах, да, играет на рояле... Или на скрипке, дорогой мистер Грей?» Оба мы не могли удержаться от смеха, и это нас как-то сразу сблизило.

– Недурно, если дружба начинается смехом, и лучше всего, если она им же кончается, – заметил лорд Генри, срывая еще одну маргаритку.

Холлуорд покачал головой.

– Ты не знаешь, что такое настоящая дружба, Гарри, – сказал он тихо. – Да и вражда настоящая тебе тоже незнакома. Ты любишь всех, а любить всех – значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны.

– Как ты несправедлив ко мне! – воскликнул лорд Генри. Сдвинув шляпу на затылок, он смотрел на облачка, проплывавшие в бирюзовой глубине летнего неба и похожие на растрепанные мотки блестящего шелка. – Да, да, возмутитель-

но несправедлив! Я далеко не одинаково отношусь к людям. В близкие друзья выбираю себе людей красивых, в приятели – людей с хорошей репутацией, врагов завожу только умных. Тщательнее всего следует выбирать врагов. Среди моих недругов нет ни единого глупца. Все они – люди мыслящие, достаточно интеллигентные и потому умеют меня ценить. Ты скажешь, что мой выбор объясняется тщеславием? Что ж, пожалуй, это верно.

– И я так думаю, Гарри. Между прочим, согласно твоей схеме, я тебе не друг, а просто приятель?

– Дорогой мой Бэзил, ты для меня гораздо больше, чем «просто приятель».

– И гораздо меньше, чем друг? Значит, что-то вроде брата, не так ли?

– Ну нет! К братьям своим я не питаю нежных чувств. Мой старший брат никак не хочет умереть, а младшие только это и делают.

– Гарри! – остановил его Холлуорд, нахмутив брови.

– Дружище, это же говорится не совсем всерьез. Но, признаюсь, я действительно не терплю свою родню. Это потому, должно быть, что мы не выносим людей с теми же недостатками, что у нас. Я глубоко сочувствую английским демократам, которые возмущаются так называемыми пороками высших классов. Люди низшего класса инстинктивно понимают, что пьянство, глупость и безнравственность должны быть *их* привилегиями, и если кто-либо из *нас* страдает этими поро-

ками, он тем самым как бы узурпирует их права. Когда бедняга Саусуорк вздумал развестись с женой, негодование масс было прямо-таки великолепно. Между тем я не поручусь за то, что хотя бы десять процентов пролетариев ведет добродетельный образ жизни.

– Во всем, что ты тут нагородил, нет ни единого слова, с которым можно согласиться, Гарри! И ты, конечно, сам в это не веришь.

Лорд Генри погладил каштановую бородку, похлопал своей черной тростью с кисточкой по носку лакированного ботинка.

– Какой ты истый англичанин, Бэзил! Вот уже второй раз я слышу от тебя это замечание. Попробуй высказать какую-нибудь мысль типичному англичанину, – а это большая неосторожность! – так он и не подумает разобраться, верная это мысль или неверная. Его интересует только одно: убежден ли ты сам в том, что говоришь. А между тем важна идея, независимо от того, искренне ли верит в нее тот, кто ее высказывает. Идея, пожалуй, имеет тем большую самостоятельную ценность, чем менее верит в нее тот, от кого она исходит, ибо она тогда не отражает его желаний, нужд и предрассудков... Впрочем, я не собираюсь обсуждать с тобой политические, социологические или метафизические вопросы. Люди меня интересуют больше, чем их принципы, а интереснее всего – люди без принципов. Поговорим о Дориане Грее. Часто вы встречаетесь?

– Каждый день. Я чувствовал бы себя несчастным, если бы не виделся с ним ежедневно. Я без него жить не могу.

– Вот чудеса! А я-то думал, что ты всю жизнь будешь любить только свое искусство.

– Дориан для меня теперь – все мое искусство, – сказал художник серьезно. – Видишь ли, Гарри, иногда я думаю, что в истории человечества есть только два важных момента. Первый – это появление в искусстве новых средств выражения, второй – появление в нем нового образа. И лицо Дориана Грея когда-нибудь станет для меня тем, чем было для венецианцев изобретение масляных красок в живописи или для греческой скульптуры – лик Антиноя<sup>9</sup>. Конечно, я пишу Дориана красками, рисую, делаю эскизы... Но дело не только в этом. Он для меня гораздо больше, чем модель или натурщик. Я не говорю, что не удовлетворен своей работой, я не стану тебя уверять, что такую красоту невозможно отобразить в искусстве. Нет ничего такого, чего не могло бы выразить искусство. Я вижу – то, что я написал со времени моего знакомства с Дорианом Греем, написано хорошо, это моя лучшая работа. Не знаю, как это объяснить и поймешь ли ты меня... Встреча с Дорианом словно дала мне ключ к чему-то совсем новому в живописи, открыла мне новую манеру письма. Теперь я вижу вещи в ином свете и все восприни-

---

<sup>9</sup> *Антиной* – греческий юноша, отличавшийся необыкновенной красотой. Он утонул в Ниле; был обожествлен после смерти по приказанию римского императора Адриана (правил в 117–138 гг.), велевшего воздвигнуть храмы в его честь.

маю по-иному. Я могу в своем искусстве воссоздавать жизнь средствами, которые прежде были мне неведомы. «Мечта о форме в дни, когда царствует мысль», – кто это сказал? Не помню. И такой мечтой стал для меня Дориан Грей. Одно присутствие этого мальчика – в моих глазах он еще мальчик, хотя ему уже минуло двадцать лет... Ах, не знаю, можешь ли ты себе представить, *что* значит для меня его присутствие! Сам того не подозревая, он открывает мне черты какой-то новой школы, школы, которая будет сочетать в себе всю страстность романтизма и все совершенство эллинизма<sup>10</sup>. Гармония духа и тела – как это прекрасно! В безумии своем мы разлучили их, мы изобрели вульгарный реализм и пустой идеализм. Ах, Гарри, если бы ты только знал, *что* для меня Дориан Грей! Помнишь тот пейзаж, за который Эгню предлагал мне громадные деньги, а я не захотел с ним расстаться? Это одна из лучших моих картин. А почему? Потому что, когда я ее писал, Дориан Грей сидел рядом. Какое-то неуловимое влияние на меня помогло мне впервые увидеть в обыкновенном лесном пейзаже чудо, которое я всегда искал и не умел найти.

– Бэзил, это поразительно! Я должен увидеть Дориана Грея!

Холлуорд поднялся и стал ходить по саду. Через несколько минут он вернулся к скамье.

---

<sup>10</sup> *Эллинизм* – эпоха расцвета эллинской культуры, наступившая после завоеваний Александра Македонского на Востоке (конец IV – начало I в. до н. э.).

– Пойми, Гарри, – сказал он, – Дориан Грей для меня по-просту мотив в искусстве. Ты, быть может, ничего не увидишь в нем, а я вижу всё... И в тех моих картинах, на которых Дориан не изображен, его влияние чувствуется всего сильнее. Как я уже тебе сказал, он словно подсказывает мне новую манеру письма. Я нахожу его, как откровение, в изгибах некоторых линий, в нежной прелести иных тонов. Вот и всё.

– Но почему же тогда ты не хочешь выставить его портрет? – спросил лорд Генри.

– Потому что я невольно выразил в этом портрете ту непостижимую влюбленность художника, в которой я, разумеется, никогда не признавался Дориану. Дориан о ней не знает. И никогда не узнает. Но другие люди могли бы отгадать правду, а я не хочу обнажать душу перед их любопытными и близорукими глазами. Никогда я не позволю им рассматривать мое сердце под микроскопом. Понимаешь теперь, Гарри? В это полотно я вложил слишком много души, слишком много самого себя.



– А вот поэты – те не так стыдливы, как ты. Они прекрасно знают, что о любви писать выгодно, на нее большой спрос. В наше время разбитое сердце выдерживает множество изданий.

– Я презираю таких поэтов! – воскликнул Холлуорд. – Художник должен создавать прекрасные произведения искусства, не внося в них ничего из своей личной жизни. В наш век люди думают, что произведение искусства должно быть чем-то вроде автобиографии. Мы утратили способность отвлеченно воспринимать красоту. Я надеюсь когда-нибудь показать миру, что такое абстрактное чувство прекрасного, – и потому-то мир никогда не увидит портрет Дориана Грея.

– По-моему, ты не прав, Бэзил, но не буду с тобой спорить.

Спорят только безнадежные кретины. Скажи, Дориан Грей очень тебя любит?

Художник задумался.

– Дориан ко мне привязан, – ответил он после недолгого молчания. – Знаю, что привязан. Оно и понятно: я ему всячески льщу. Мне доставляет странное удовольствие говорить ему вещи, которые говорить не следовало бы, – хоть я и знаю, что потом пожалею об этом. В общем, он относится ко мне очень хорошо, и мы проводим вдвоем целые дни, беседуя на тысячу тем. Но иногда он бывает ужасно нечуток, и ему как будто очень нравится мучить меня. Тогда я чувствую, Гарри, что отдал всю душу человеку, для которого она – то же, что цветок в петлице, украшение, которым он будет тешить свое тщеславие только один летний день.

– Летние дни долги, Бэзил, – сказал вполголоса лорд Генри. – И, быть может, ты пресытишься раньше, чем Дориан. Как это ни печально, Гений, несомненно, долговечнее Красоты. Потому-то мы так и стремимся сверх всякой меры развивать свой ум. В жестокой борьбе за существование мы хотим сохранить хоть что-нибудь устойчивое, прочное, и начинаем голову фактами и всяким хламом в бессмысленной надежде удержать за собой место в жизни. Высокообразованный, сведующий человек – вот современный идеал. А мозг такого высокообразованного человека – это нечто страшное! Он подобен лавке антиквара, набитой всяким пыльным старьем, где каждая вещь оценена гораздо выше своей настоя-

щей стоимости... Да, Бэзил, я все-таки думаю, что ты пресытишься первым. В один прекрасный день ты взглянешь на своего друга – и красота *его* покажется тебе уже немного менее гармоничной, тебе вдруг не понравится тон его кожи или что-нибудь еще. В душе ты горько упрекнешь в этом его и самым серьезным образом начнешь думать, будто он в чем-то виноват перед тобой. При следующем свидании ты будешь уже совершенно холоден и равнодушен. И можно только очень пожалеть об этой будущей перемене в тебе. То, что ты мне сейчас рассказал, – настоящий роман. Можно сказать, роман на почве искусства. А пережив роман своей прежней жизни, человек – увы! – становится так прозаичен!

– Не говори так, Гарри. Я на всю жизнь пленен Дорианом. Тебе меня не понять: ты такой непостоянный.

– Ах, дорогой Бэзил, именно поэтому я и способен понять твои чувства. Тем, кто верен в любви, доступна лишь ее банальная сущность. Трагедию же любви познают лишь те, кто изменяет.

Достав изящную серебряную спичечницу, лорд Генри закурил папиросу с самодовольным и удовлетворенным видом человека, сумевшего вместить в одну фразу всю житейскую мудрость.

В блестящих зеленых листьях плюща возились и чирикали воробьи, голубые тени облаков, как стаи быстрых ласточек, скользили по траве. Как хорошо было в саду! «И как увлекательно-интересны чувства людей, гораздо интереснее

их мыслей! – говорил себе лорд Генри. – Собственная душа и страсти друзей – вот что самое занятное в жизни».

Он с тайным удовольствием вспомнил, что, засидевшись у Бэзила Холлуорда, пропустил скучный завтрак у своей тетушки. У нее, несомненно, завтракает сегодня лорд Гудбоди, и разговор все время вертится вокруг образцовых столовых и ночлежных домов, которые необходимо открыть для бедняков. При этом каждый восхваляет те добродетели, в которых ему самому нет надобности упражняться, – богачи проповедуют бережливость, а бездельники красноречиво распространяются о великом значении труда. Как хорошо, что на сегодня он избавлен от всего этого!

Мысль о тетушке вдруг вызвала в уме лорда Генри одно воспоминание. Он повернулся к Холлуорду.

– Знаешь, я сейчас вспомнил...

– Что вспомнил, Гарри?

– Вспомнил, где я слышал про Дориана Грея.

– Где же? – спросил Холлуорд, сдвинув брови.

– Не смотри на меня так сердито, Бэзил. Это было у моей тетушки, леди Агаты. Она рассказывала, что нашла премилого молодого человека, который обещал помогать ей в Ист-Энде<sup>11</sup>, и зовут его Дориан Грей. Заметь, она и словом не упомянула о его красоте. Женщины, – во всяком случае, добродетельные женщины, – не ценят красоту. Тетушка ска-

---

<sup>11</sup> *Ист-Энд*. – Во времена Уайльда восточные районы Лондона считались кварталами бедноты; особенно печальной славой пользовался квартал Уайтчепл.

зала только, что он юноша серьезный, с прекрасным сердцем, – и я сразу представил себе субъекта в очках, с прямыми волосами, веснушчатой физиономией и огромными ногами. Жаль, я тогда не знал, что этот Дориан – твой друг.

– А я очень рад, что ты этого не знал, Гарри.

– Почему?

– Я не хочу, чтобы вы познакомились.

– Не хочешь, чтобы мы познакомились?

– Нет.

– Мистер Дориан Грей в студии, сэр, – доложил лакей, появляясь в саду.

– Ага, теперь тебе волей-неволей придется нас познакомиться! – со смехом воскликнул лорд Генри.

Художник повернулся к лакею, который стоял жмурясь от солнца.

– Попросите мистера Грея подождать, Паркер, я сию минуту приду.

Лакей поклонился и пошел по дорожке к дому. Тогда Холлуорд посмотрел на лорда Генри.

– Дориан Грей – мой лучший друг, – сказал он. – У него открытая и светлая душа – твоя тетушка была совершенно права. Смотри, Гарри, не испорти его! Не пытайся на него влиять. Твое влияние было бы губительно для него. Свет велик, в нем много интереснейших людей, так не отнимай же у меня единственного человека, который вдохнул в мое искусство то прекрасное, что есть в нем. Все мое будущее ху-

дожника зависит от него. Помни, Гарри, я надеюсь на твою совесть!

Он говорил очень медленно, и слова, казалось, вырывались у него помимо воли.

– Что за глупости! – с улыбкой перебил лорд Генри и, взяв Холлуорда под руку, почти насильно повел его в дом.

## Глава II

В мастерской они застали Дориана Грея. Он сидел за роялем, спиной к ним, и перелистывал шумановский альбом «Лесные картинки»<sup>12</sup>.

– Что за прелесть! Я хочу их разучить, – сказал он, не обращившись. – Дайте их мне на время, Бэзил.

– Дам, если вы сегодня будете хорошо позировать, Дориан.

– Ох, надоело мне это! И я вовсе не стремлюсь иметь свой портрет в натуральную величину, – возразил юноша капризно. Повернувшись на табурете, он увидел лорда Генри и поспешно встал, порозовев от смущения. – Извините, Бэзил, я не знал, что у вас гость.

– Знакомьтесь, Дориан, это лорд Генри Уоттон, мой старый товарищ по университету. Я только что говорил ему, что вы превосходно позируете, а вы своим брюзжанием все испортили!

– Но ничуть не испортили мне удовольствия познакомиться с вами, мистер Грей, – сказал лорд Генри, подходя к Дориану и протягивая ему руку. – Я много наслышался о вас от моей тетушки. Вы – ее любимец и, боюсь, одна из ее жертв.

– Как раз теперь я у леди Агаты на плохом счету, – ото-

---

<sup>12</sup> «Лесные картинки» – сборник фортепьянных пьес немецкого композитора Роберта Шумана (1810–1856).

звался Дориан с забавно-покаянным видом. – Я обещал в прошлый вторник поехать с ней на концерт в один уайтчеплский клуб – и совершенно забыл об этом. Мы должны были там играть с ней в четыре руки, – кажется, даже целых три дуэта. Уж не знаю, как она теперь меня встретит. Боюсь показаться ей на глаза.

– Ничего, я вас помирю. Тетушка Агата вас очень любит. И то, что вы не выступили вместе с нею на концерте, вряд ли так уж важно. Публика, вероятно, думала, что исполняется дуэт, – ведь за роялем тетя Агата вполне может нашуметь за двоих.

– Такое мнение крайне обидно для нее и не очень-то лестно для меня, – сказал Дориан, смеясь.

Лорд Генри смотрел на Дориана, любуясь его ясными голубыми глазами, золотистыми кудрями, изящным рисунком алого рта. Этот юноша в самом деле был удивительно красив, и что-то в его лице сразу внушало доверие. В нем чувствовалась искренность и чистота юности, ее целомудренная пылкость. Легко было поверить, что жизнь еще ничем не загрязнила этой молодой души. Недаром Бэзил Холлуорд боготворил Дориана!

– Ну можно ли такому очаровательному молодому человеку заниматься благотворительностью! Нет, вы для этого слишком красивы, мистер Грей, – сказал лорд Генри и, развалясь на диване, достал свой портсигар.

Художник тем временем приготовил кисти и смешивал

краски на палитре. На хмуром его лице было заметно сильное беспокойство. Услышав последнее замечание лорда Генри, он быстро оглянулся на него и после минутного колебания сказал:

– Гарри, мне хотелось бы закончить сегодня портрет. Ты не обидишься, если я попрошу тебя уйти?

Лорд Генри с улыбкой посмотрел на Дориана.

– Уйти мне, мистер Грей?

– Ах нет, лорд Генри, пожалуйста, не уходите! Бэзил, я вижу, сегодня опять в дурном настроении, а я терпеть не могу, когда он сердится. Притом вы еще не объяснили, почему мне не следует заниматься благотворительностью?

– Стоит ли объяснять это, мистер Грей? На такую скучную тему говорить пришлось бы серьезно. Но я, конечно, не уйду, раз вы меня просите остаться. Ты ведь не будешь возражать, Бэзил? Ты сам не раз говорил мне, что любишь, когда кто-нибудь занимает тех, кто тебе позирует.

Холлуорд закусил губу.

– Конечно, оставайся, раз Дориан этого хочет. Его прихоть – закон для всех, кроме него самого.

Лорд Генри взял шляпу и перчатки.

– Несмотря на твои настояния, Бэзил, я, к сожалению, должен вас покинуть. Я обещал встретиться кое с кем в Орлеанском клубе<sup>13</sup>. До свиданья, мистер Грей. Навестите меня

---

<sup>13</sup> *Орлеанский клуб* – один из аристократических клубов Лондона XIX в., как и упомянутый ниже Уайт.

как-нибудь на Керзон-стрит. В пять я почти всегда дома. Но лучше вы сообщите заранее, когда захотите прийти: было бы обидно, если бы вы меня не застали.

– Бэзил, – воскликнул Дориан Грей, – если лорд Генри уйдет, я тоже уйду! Вы никогда рта не раскрываете во время работы, и мне ужасно надоедает стоять на подмостках и все время мило улыбаться. Попросите его не уходить!

– Оставайся, Гарри. Дориан будет рад, и меня ты этим очень обяжешь, – сказал Холлуорд, не отводя глаз от картины. – Я действительно всегда молчу во время работы и не слушаю, что мне говорят, так что моим бедным натурщикам, должно быть, нестерпимо скучно. Пожалуйста, посиди с нами.

– А как же мое свидание в клубе?

Художник усмехнулся.

– Не думаю, чтобы это было так уж важно. Садись, Гарри. Ну а вы, Дориан, станьте на подмостки и поменьше вертитеесь. Да не очень-то слушайте лорда Генри – он на всех знакомых, кроме меня, оказывает самое дурное влияние.

Дориан Грей с видом юного мученика взошел на помост и, сделав недовольную гримасу, переглянулся с лордом Генри. Этот друг Бэзила ему очень нравился. Он и Бэзил были совсем разные, составляли прелюбопытный контраст. И голос у лорда Генри был такой приятный! Выждав минуту, Дориан спросил:

– Лорд Генри, вы в самом деле так вредно влияете на дру-

гих?

– Хорошего влияния не существует, мистер Грей. Всякое влияние уже само по себе безнравственно, – безнравственно с научной точки зрения.

– Почему же?

– Потому что влиять на другого человека – это значит передать ему свою душу. Он начнет думать не своими мыслями, пылать не своими страстями. И добродетели у него будут не свои, и грехи, – если предположить, что таковые вообще существуют, – будут заимствованные. Он станет отголоском чужой мелодии, актером, выступающим в роли, которая не для него написана. Цель жизни – самовыражение. Проявить во всей полноте свою сущность – вот для чего мы живем. А в наш век люди стали бояться самих себя. Они забыли, что высший долг – это долг перед самим собой. Разумеется, они милосердны. Они накормят голодного, оденут нищего. Но их собственные души наги и умирают с голоду. Мы утратили мужество. А может быть, его у нас никогда и не было. Боязнь общественного мнения, эта основа морали, и страх перед Богом, страх, на котором держится религия, – вот что властвует над нами. Между тем...

– Будьте добры, Дориан, поверните-ка голову немного вправо, – попросил художник. Поглощенный своей работой, он ничего не слышал и только подметил на лице юноши выражение, какого до сих пор никогда не видел.

– А между тем, – своим низким, певучим голосом про-

должал лорд Генри с характерными для него плавными жестами, памятливыми всем, кто знал его еще в Итоне, – мне думается, что, если бы каждый человек мог бы жить полной жизнью, давая волю каждому чувству и выражение каждой мысли, осуществляя каждую свою мечту, – мир ощутил бы вновь такой мощный порыв к радости, что забыты были бы все болезни Средневековья, и мы вернулись бы к идеалам эллинизма, а может быть, и к чему-либо еще более ценному и прекрасному. Но и самый смелый из нас боится самого себя. Самоотречение, этот трагический пережиток тех диких времен, когда люди себя калечили, омрачает нам жизнь. И мы расплачиваемся за это самоограничение. Всякое желание, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас. А согрешив, человек избавляется от влечения к греху, ибо осуществление – это путь к очищению. После этого остаются лишь воспоминания о наслаждении или сладострастие раскаяния. Единственный способ отделаться от искушения – уступить ему. А если вздумаешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному, и тебя измучают желания, которые чудовищный закон, тобой же созданный, признал порочными и преступными. Кто-то сказал, что величайшие события в мире – это те, которые происходят в мозгу у человека. А я скажу, что и величайшие грехи мира рождаются в мозгу, и только в мозгу. Да ведь и в вас, мистер Грей, даже в пору светлого отрочества и розовой юности, уже бродили страсти, пугавшие вас, мысли, которые вас

приводили в ужас. Вы знали мечты и сновидения, при одном воспоминании о которых вы краснеете от стыда... – Постоите, постоите! – пробормотал, запинаясь, Дориан Грей. – Вы смутили меня, я не знаю, что сказать... С вами можно бы поспорить, но я сейчас не нахожу слов... Не говорите больше ничего! Дайте мне подумать... Впрочем, лучше не думать об этом!

Минут десять Дориан стоял неподвижно, с полуоткрытым ртом и странным блеском в глазах. Он смутно сознавал, что в нем просыпаются какие-то совсем новые мысли и чувства. Ему казалось, что они пришли не извне, а поднимались из глубины его существа. Да, он чувствовал, что несколько слов, сказанных этим другом Бэзила, сказанных, вероятно, просто так, между прочим, и намеренно парадоксальных, затронули в нем какую-то тайную струну, которой до сих пор не касался никто, и сейчас она трепетала, вибрировала порывистыми толчками.

До сих пор так волновала его только музыка. Да, музыка не раз будила в его душе волнение, но волнение смутное, бездумное. Она ведь творит в душе не новый мир, а скорее – новый хаос. А тут прозвучали *слова*! Простые слова – но как они страшны! От них никуда не уйдешь. Как они ясны, неотразимо сильны и жестоки! И вместе с тем – какое в них таится коварное очарование! Они, казалось, придавали зримую и осязаемую форму неопределенным мечтам, и в них была своя музыка, сладостнее звуков лютни и виолы. Только

слова! Но есть ли что-либо весомее слов?

Да, в ранней юности он, Дориан, не понимал некоторых вещей. Сейчас он понял всё. Жизнь вдруг засверкала перед ним жаркими красками. Ему казалось, что он шагает среди бушующего пламени. И как он до сих пор не чувствовал этого?

Лорд Генри с тонкой усмешкой наблюдал за ним. Он знал, когда следует помолчать. Дориан живо заинтересовал его, и он сам сейчас удивлялся тому впечатлению, какое произвели на юношу его слова. Ему вспомнилась одна книга, которую он прочитал в шестнадцать лет; она открыла ему тогда многое такое, чего он не знал раньше. Быть может, Дориан Грей сейчас переживает то же самое? Неужели стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала в цель? Как этот мальчик мил!..

Холлуорд писал с увлечением, как всегда, чудесными, смелыми мазками, с тем подлинным изяществом и утонченностью, которые – в искусстве по крайней мере – всегда являются признаком мощного таланта. Он не замечал наступившего молчания.

– Бэзил, я устал стоять! – воскликнул вдруг Дориан. – Мне надо побыть на воздухе, в саду. Здесь очень душно!

– Ах, простите, мой друг! Когда я пишу, я забываю обо всем. А вы сегодня стояли не шелохнувшись. Никогда еще вы так хорошо не позировали. И я поймал то выражение, какое все время искал. Полуоткрытые губы, блеск в глазах...

Не знаю, о чем тут разглагольствовал Гарри, но, конечно, это он вызвал на вашем лице такое удивительное выражение. Должно быть, наговорил вам кучу комплиментов? А вы не верьте ни единому его слову.

– Нет, он говорил мне вещи совсем не лестные. Поэтому я и не склонен ему верить.

– Ну, ну, в душе вы отлично знаете, что поверили всему, – сказал лорд Генри, задумчиво глядя на него своими томными глазами. – Я, пожалуй, тоже выйду с вами в сад: здесь невыносимо жарко.

Бэзил, прикажи подать нам какого-нибудь питья со льдом... и хорошо бы с земляничным соком.

– С удовольствием, Гарри. Позвони Паркеру, и я скажу ему, что принести. Я приду к вам в сад немного погодя: надо еще подработать фон. Но не задерживай Дориана надолго. Мне сегодня, как никогда, хочется писать. Этот портрет будет моим шедевром. Даже в таком виде, как сейчас, он уже чудо как хорош.

Выйдя в сад, лорд Генри нашел Дориана у куста сирени: зарывшись лицом в прохладную массу цветов, он упивался их ароматом, как жаждущий – вином. Лорд Генри подошел к нему вплотную и дотронулся до его плеча.

– Вот это правильно, – сказал он тихо. – Душу лучше всего лечить ощущениями, а от ощущений лечит только душа.

Юноша вздрогнул и отступил. Он был без шляпы, и ветки растрепали его непокорные кудри, спутав золотистые пряди.

Глаза у него были испуганные, как у внезапно разбуженного человека. Тонко очерченные ноздри нервно вздрагивали, алые губы трепетали от какого-то тайного волнения.

– Да, – продолжал лорд Генри, – надо знать этот великий секрет жизни: лечите душу ощущениями, а ощущения пусть врачует душа. Вы – удивительный человек, мистер Грей. Вы знаете больше, чем вам это кажется, но меньше, чем хотели бы знать.

Дориан Грей нахмурился и отвел глаза. Ему безотчетно нравился высокий и красивый человек, стоявший рядом с ним. Смуглое романтическое лицо лорда Генри, его усталое выражение вызывало интерес, и что-то завораживающее было в низком и протяжном голосе. Даже руки его, прохладные, белые и нежные, как цветы, таили в себе странное очарование. В движениях этих рук, как и в голосе, была музыка, и казалось, что они говорят своим собственным языком.

Дориан чувствовал, что боится этого человека, – и стыдился своего страха. Зачем нужно было, чтобы кто-то чужой научил его понимать собственную душу? Ведь вот с Бэзиллом Холлуордом он давно знаком, но дружба их ничего не изменила в нем. И вдруг приходит этот незнакомец – и словно открывает перед ним тайны жизни. Но все-таки чего же ему бояться? Он не школьник и не девушка. Ему бояться лорда Генри просто глупо.

– Давайте сядем где-нибудь в тени, – сказал лорд Генри. – Вот Паркер уже несет нам питье. А если вы будете стоять

на солнце, вы подурнеете и Бэзил больше не захочет вас писать. Загар будет вам не к лицу.

– Эка важность, подумаешь! – засмеялся Дориан Грей, садясь на скамью в углу сада.

– Для вас это очень важно, мистер Грей.

– Почему же?

– Да потому, что вам дана чудесная красота молодости, а молодость – единственное богатство, которое стоит беречь.

– Я этого не думаю, лорд Генри.

– Теперь вы, конечно, этого не думаете. Но когда вы станете безобразным стариком, когда думы избородят ваш лоб морщинами, а страсти своим губительным огнем иссушат ваши губы, – вы поймете это с неумолимой ясностью. Теперь, куда бы вы ни пришли, вы всех пленяете. Но разве так будет всегда? Вы удивительно хороши собой, мистер Грей. Не хмурьтесь, это правда. А Красота – один из видов Гения, она еще выше Гения, ибо не требует понимания. Она – одно из великих явлений окружающего нас мира, как солнечный свет, или весна, или отражение в темных водах серебряного щита луны. Красота неоспорима. Она имеет высшее право на власть и делает царями тех, кто ею обладает. Вы улыбаетесь? О, когда вы ее утратите, вы не будете улыбаться... Иные говорят, что Красота – это тщета земная. Быть может. Но, во всяком случае, она не так тщетна, как Мысль. Для меня Красота – чудо из чудес. Только пустые, ограниченные люди не судят по внешности. Подлинная тайна жизни заклю-

чена в зримом, а не в сокровенном... Да, мистер Грей, боги к вам милостивы. Но боги скоро отнимают то, что дают. У вас впереди не много лет для жизни настоящей, полной и прекрасной. Минет молодость, а с нею красота – и вот вам вдруг станет ясно, что время побед прошло, или придется довольствоваться победами столь жалкими, что в сравнении с прошлым они вам будут казаться горше поражений. Каждый уходящий месяц приближает вас к этому тяжкому будущему. Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили нас боги. Щеки ваши пожелтеют и ввалятся, глаза потускнеют. Вы будете страдать ужасно... Так пользуйтесь же своей молодостью, пока она не ушла. Не тратьте понапрасну золотые дни, слушая нудных святош, не пытайтесь исправлять то, что неисправимо, не отдавайте свою жизнь невеждам, пошлякам и ничтожествам, следуя ложным идеям и нездоровым стремлениям нашей эпохи. Живите! Живите той чудесной жизнью, что скрыта в вас. Ничего не упускайте, вечно ищите все новых ощущений! Ничего не бойтесь! Новый гедонизм<sup>14</sup> – вот что нужно нашему поколению. И вы могли бы стать его зримым символом. Для такого, как вы, нет ничего невозможного. На короткое время мир принадлежит вам... Я с первого взгляда понял, что вы себя еще не знаете, не знаете, чем вы могли бы быть. Многое в вас меня плени-

---

<sup>14</sup> *Гедонизм* – этическая доктрина, восходящая к поздней Античности; центральное ее положение состоит в том, что высшей целью жизни является стремление к счастью и наслаждениям.

ло, и я почувствовал, что должен помочь вам познать самого себя. Я думал: «Как было бы трагично, если бы эта жизнь пропала даром!» Ведь молодость ваша пройдет так быстро! Простые полевые цветы вянут, но опять расцветают. Будущим летом раkitник в июне будет так же сверкать золотом, как сейчас. Через месяц зацветет пурпурными звездами ломонос, и каждый год в зеленой ночи его листьев будут загораться все новые пурпурные звезды. А к нам молодость не возвращается. Слабеет пульс радости, что бьется так сильно в двадцать лет, дряхлеет тело, угасают чувства. Мы превращаемся в отвратительных марионеток с неотвязными воспоминаниями о тех страстях, которых мы слишком боялись, и соблазнах, которым мы не посмели уступить. Молодость! Молодость! В мире нет ничего ей равного!

Дориан Грей слушал с жадным вниманием, широко раскрыв глаза. Веточка сирени выскользнула из его пальцев и упала на гравий. Тотчас подлетела мохнатая пчела, с минуту покружилась над нею, жужжа, потом стала путешествовать по всей кисти, переползая с одной звездочки на другую.



Дориан наблюдал за ней с тем неожиданным интересом, с каким мы сосредоточиваем порой внимание на самых незначительных мелочах, когда нам страшно думать о самом важном, или когда нас волнует новое чувство, еще неясное нам самим, или какая-нибудь страшная мысль осаждает мозг и принуждает нас сдаться. Пчела скоро полетела дальше. Дориан видел, как она забралась в трубчатую чашечку выюнка. Цветок, казалось, вздрогнул и тихонько закачался на стебельке.

Неожиданно в дверях мастерской появился Холлуорд и энергичными жестами стал звать своих гостей в дом. Лорд Генри и Дориан переглянулись.

– Я жду! – крикнул художник. – Идите же! Освещение

сейчас для работы самое подходящее... А пить вы можете и здесь.

Они поднялись и медленно зашагали по дорожке. Мимо пролетели две бледно-зеленые бабочки, в дальнем углу сада на груше запел дрозд.

– Ведь вы довольны, что познакомились со мной, мистер Грей? – сказал лорд Генри, глядя на Дориана.

– Да, сейчас я этому рад. Не знаю только, всегда ли так будет.

– «Всегда»!.. Какое ужасное слово! Я содрогаюсь, когда слышу его. Его особенно любят женщины. Они портят всякий роман, стремясь, чтобы он длился вечно. Притом «всегда» – это пустое слово. Между капризом и «вечной любовью» разница только та, что каприз длится несколько дольше.

Они уже входили в мастерскую. Дориан Грей положил руку на плечо лорда Генри.

– Если так, пусть наша дружба будет капризом, – шепнул он, краснея, смущенный собственной смелостью. Затем вошел на подмостки и стал в позу.

Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, наблюдал за ним. Тишину в комнате нарушали только легкий стук и шуршание кисти по полотну, затихавшие, когда Холлуорд отходил от мольберта, чтобы издали взглянуть на свою работу. В открытую дверь лились косые солнечные лучи, в них плясали золотые пылинки. Приятный аромат роз

словно плавал в воздухе.

Прошло с четверть часа. Художник перестал работать. Он долго смотрел на Дориана Грея, потом, так же долго, – на портрет, хмурясь и покусывая кончик длинной кисти.

– Готово! – воскликнул он наконец и, нагнувшись, подписал свое имя длинными красными буквами в левом углу картины.

Лорд Генри подошел ближе, чтобы лучше рассмотреть ее. Несомненно, это было дивное произведение искусства, да и сходство было поразительное.

– Дорогой мой Бэзил, поздравляю тебя от всей души! – сказал он. – Я не знаю лучшего портрета во всей современной живописи. Подойдите же сюда, мистер Грей, и судите сами.

Юноша вздрогнул, как человек, внезапно очнувшийся от сна.

– В самом деле кончено? – спросил он, сходя с подмостков.

– Да, да. И вы сегодня прекрасно позировали. Я вам за это бесконечно благодарен.

– За это надо благодарить меня, – вмешался лорд Генри. – Правда, мистер Грей?

Дориан, не отвечая, с рассеянным видом прошел мимо мольберта, затем повернулся к нему лицом. При первом взгляде на портрет он невольно сделал шаг назад и вспыхнул от удовольствия. Глаза его блеснули так радостно, словно он

в первый раз увидел себя. Он стоял неподвижно, погруженный в созерцание, смутно сознавая, что Холлуорд что-то говорит ему, но не вникая в смысл его слов. Как откровение пришло к нему сознание своей красоты. До сих пор он как-то ее не замечал, и восхищение Бэзила Холлуорда казалось ему трогательным ослеплением дружбы. Он выслушивал его комплименты, подсмеивался над ними и забывал их. Они не производили на него никакого впечатления. Но вот появился лорд Генри, прозвучал его восторженный гимн молодости, грозное предостережение о том, что она быстротечна. Это взволновало Дориана, и сейчас, когда он смотрел на отражение своей красоты, перед ним вдруг с поразительной ясностью встало то будущее, о котором говорил лорд Генри. Да, наступит день, когда его лицо поблекнет и сморщится, глаза потускнеют, выцветут, стройный стан согнется, станет безобразным. Годы унесут с собой алость губ и золото волос. Жизнь, формируя его душу, будет разрушать его тело. Он станет отталкивающе некрасив, жалок и страшен.

При этой мысли острая боль, как ножом, пронзила Дориана, и каждая жилка в нем затрепетала. Глаза потемнели, став из голубых аметистовыми, и затуманились слезами. Словно ледяная рука легла ему на сердце.

– Разве портрет вам не нравится?! – воскликнул наконец Холлуорд, немного задетый непонятым молчанием Дориана.

– Ну конечно нравится, – ответил за него лорд Генри. –

Кому он мог бы не понравиться? Это один из шедевров современной живописи. Я готов отдать за него столько, сколько ты потребуешь. Этот портрет должен принадлежать мне.

– Я не могу его продать, Гарри. Он не мой.

– А чей же?

– Дориана, разумеется, – ответил художник.

– Вот счастливец!

– Как это печально! – пробормотал вдруг Дориан Грей, все еще не отводя глаз от своего портрета. – Как печально! Я состарюсь, стану противным уродом, а мой портрет будет вечно молод. Он никогда не станет старше, чем в этот июньский день... Ах, если бы могло быть наоборот! Если бы старел этот портрет, а я навсегда остался молодым! За это... за это я отдал бы все на свете. Да, ничего не пожалел бы! Душу бы отдал за это!

– Тебе, Бэзил, такой порядок вещей вряд ли понравился бы! – воскликнул лорд Генри со смехом. – Тяжела тогда была бы участь художника!

– Да, я горячо протестовал бы против этого, – отозвался Холлуорд.

Дориан Грей обернулся и в упор посмотрел на него.

– О Бэзил, в этом я не сомневаюсь! Свое искусство вы любите больше, чем друзей. Я вам не дороже какой-нибудь позеленевшей бронзовой статуэтки. Нет, пожалуй, ею вы дорожите больше.

Удивленный художник смотрел на него во все глаза.

Очень странно было слышать такие речи от Дориана. Что это с ним? Он, видимо, был очень раздражен, лицо его пылало.

– Да, да, – продолжал Дориан. – Я вам не так дорог, как ваш серебряный фавн или Гермес<sup>15</sup> из слоновой кости. *Их* вы будете любить всегда. А долго ли будете любить меня? Вероятно, до первой морщинки на моем лице. Я теперь знаю: когда человек теряет красоту, он теряет все. Ваша картина мне это подсказала. Лорд Генри совершенно прав: молодость – единственное, что ценно в нашей жизни. Когда я замечу, что старею, я покончу с собой.

Холлуорд побледнел и схватил его за руку.

– Дориан, Дориан, что вы такое говорите! У меня не было и не будет друга ближе вас. Что это вы вздумали завидовать каким-то неодушевленным предметам? Да вы прекраснее их всех!

– Я завидую всему, чья красота бессмертна. Завидую этому портрету, который вы с меня написали. Почему он сохранит то, что мне суждено утратить? Каждое уходящее мгновение отнимает что-то у меня и дарит ему. О, если бы было наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! Зачем вы его написали? Придет время, когда он будет дразнить меня, постоянно насмехаться надо мной!

---

<sup>15</sup> *Фавн* – бог лесов и пастбищ у римлян; изображался в виде человека с козлиными ногами, рогами и хвостом. *Гермес* – у греков покровитель торговли, посланец богов; изображался с жезлом в руке и крылатыми сандалиями на ногах.

Горячие слезы подступили к глазам Дориана, он вырвал свою руку из руки Холлуорда и, упав на диван, спрятал лицо в подушки.

– Это ты наделал, Гарри! – сказал художник с горечью.

Лорд Генри пожал плечами.

– Это заговорил настоящий Дориан Грей, вот и все.

– Неправда.

– А если нет, при чем же тут я?

– Тебе следовало уйти, когда я просил тебя об этом.

– Я остался по твоей же просьбе, – возразил лорд Генри.

– Гарри, я не хочу поссориться разом с двумя моими близкими друзьями... Но вы оба сделали мне ненавистной мою лучшую картину. Я ее уничтожу. Что ж, ведь это только холст и краски. И я не допущу, чтобы она омрачила жизнь всем нам.

Дориан Грей поднял голову с подушки и, бледнея, заплаканными глазами следил за художником, который подошел к своему рабочему столу у высокого занавешенного окна. Что он там делает? Шарит среди беспорядочно нагроможденных на столе тюбиков с красками и сухих кистей – видимо, разыскивает что-то. Ага, это он искал длинный шпатель с тонким и гибким стальным лезвием. И нашел его наконец. Он хочет изрезать портрет!

Всхлипнув, юноша вскочил с дивана, подбежал к Холлуорду и, вырвав у него из рук шпатель, швырнул его в дальний угол.

– Не смейте, Бэзил! Не смейте! – крикнул он. – Это все равно что убийство!

– Вы, оказывается, все-таки цените мою работу? Очень рад, – сказал художник сухо, когда опомнился от удивления. – А я на это уже не надеялся.

– Ценю ее? Да я в нее влюблен, Бэзил. У меня такое чувство, словно этот портрет – часть меня самого.

– Ну и отлично! Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой. Тогда можете делать с собой что хотите.

Пройдя через комнату, Холлуорд позвонил.

– Вы, конечно, не откажетесь выпить чаю, Дориан? И ты тоже, Гарри? Или ты не охотник до таких простых удовольствий?

– Я обожаю простые удовольствия, – сказал лорд Генри. – Они – последнее прибежище для сложных натур. Но драматические сцены я терплю только на театральных подмостках. Какие вы оба нелепые люди! Интересно, кто это выдумал, что человек – разумное животное? Что за скороспелое суждение! У человека есть что угодно, только не разум. И, в сущности, это очень хорошо!.. Однако мне неприятно, что вы ссоритесь из-за портрета. Вы бы лучше отдали его мне, Бэзил! Этому глупому мальчику вовсе не так уж хочется его иметь, а мне *очень* хочется.

– Бэзил, я вам никогда не прощу, если вы его отдадите не мне! – воскликнул Дориан Грей. – И я никому не позволю

обзывать меня «глупым мальчиком».

– Я уже сказал, что дарю портрет вам, Дориан. Я так решил еще прежде, чем начал его писать.

– А на меня не обижайтесь, мистер Грей, – сказал лорд Генри. – Вы сами знаете, что вели себя довольно глупо. И не так уж вам неприятно, когда вам напоминают, что вы еще мальчик.

– Еще сегодня утром мне было бы это очень неприятно, лорд Генри.

– Ах, утром! Но с тех пор вы многое успели пережить.

В дверь постучали, вошел лакей с чайным подносом и поставил его на японский столик. Звякали чашки и блюдца, пыхтел большой старинный чайник. За лакеем мальчик внес два шарообразных фарфоровых блюда.

Дориан Грей подошел к столу и стал разливать чай. Бэзил и лорд Генри не спеша подошли тоже и, приподняв крышки, посмотрели, что лежит на блюдах.

– А не пойти ли нам сегодня вечером в театр? – предложил лорд Генри. – Наверное, где-нибудь идет что-нибудь интересное. Правда, я обещал одному человеку обедать сегодня с ним у Уайта, но это мой старый приятель, ему можно телеграфировать, что я заболел или что мне помешало прийти более позднее приглашение... Пожалуй, такого рода отговорка ему даже больше понравится своей неожиданной откровенностью.

– Ох, надевать фрак! Как это скучно! – буркнул Холлу-

орд. – Терпеть не могу фраки!

– Да, – лениво согласился лорд Генри. – Современные костюмы безобразны, они угнетают своей мрачностью. В нашей жизни не осталось ничего красочного, кроме порока.

– Право, Гарри, тебе не следует говорить таких вещей при Дориане!

– При котором из них? При том, кто наливает нам чай, или том, что на портрете?

– И при том, и при другом.

– Я с удовольствием пошел бы с вами в театр, лорд Генри, – промолвил Дориан.

– Прекрасно. Значит, едем. И вы с нами, Бэзил?

– Нет, право, не могу. У меня уйма дел.

– Ну, так мы пойдем вдвоем – вы и я, мистер Грей.

– Как я рад!

Художник, закусив губу, с чашкой в руке подошел к портрету.

– А я останусь с подлинным Дорианом, – сказал он грустно.

– Так, по-вашему, это – подлинный Дориан? – спросил Дориан Грей, подходя к нему. – Неужели я в самом деле такой?

– Да, именно такой.

– Как это чудесно, Бэзил!

– По крайней мере, внешне вы такой. И на портрете всегда таким останетесь... – со вздохом сказал Холлуорд. – А это

чего-нибудь да стоит.

– Как люди гонятся за постоянством! – воскликнул лорд Генри. – Господи, да ведь и в любви верность – это всецело вопрос физиологии, она ничуть не зависит от нашей воли. Люди молодые хотят быть верны – и не бывают, старики хотели бы изменять, но где уж им! Вот и всё.

– Не ходите сегодня в театр, Дориан, – сказал Холлуорд. – Оставайтесь у меня, пообедаем вместе.

– Не могу, Бэзил.

– Почему?

– Я же обещал лорду Генри пойти с ним.

– Думаете, он станет хуже относиться к вам, если вы не сдержите слова? Он сам никогда не выполняет своих обещаний. Я вас очень прошу не уходите.

Дориан засмеялся и покачал головой.

– Умоляю вас!

Юноша в нерешимости посмотрел на лорда Генри, который, сидя за чайным столом, с улыбкой слушал их разговор.

– Нет, я должен идти, Бэзил.

– Как знаете. – Холлуорд отошел к столу и поставил свою чашку на поднос. – В таком случае не теряйте времени. Уже поздно, а вам еще надо переодеться. До свидания, Гарри. До свидания, Дориан. Приходите поскорее – ну хотя бы завтра. Придете?

– Непременно.

– Не забудете?

– Нет, конечно нет! – заверил его Дориан.

– И вот еще что... Гарри!

– Что, Бэзил?

– Помни то, о чем я просил тебя утром в саду!

– А я уже забыл, о чем именно.

– Смотри! Я тебе доверяю.

– Хотел бы я сам себе доверять! – сказал лорд Генри со смехом. – Идемте, мистер Грей, мой кабриолет у ворот, и я могу довезти вас до дому. До свидания, Бэзил. Мы сегодня очень интересно провели время.

Когда дверь закрылась за гостями, художник тяжело опустился на диван. По лицу его видно было, как ему больно.

## Глава III

На другой день в половине первого лорд Генри Уоттон вышел из своего дома на Керзон-стрит и направился к Олбени<sup>16</sup>. Он хотел навестить своего дядю, лорда Фермора, добродушного, хотя и резковатого старого холостяка, которого за пределами светского круга считали эгоистом, ибо он ничем особенно не был людям полезен, а в светском кругу – щедрым и добрым, ибо лорд Фермор охотно угощал тех, кто его развлекал. Отец лорда Фермора состоял английским послом в Мадриде в те времена, когда королева Изабелла<sup>17</sup> была молода, а Прима еще и в помине не было<sup>18</sup>. Под влиянием минутного каприза он ушел с дипломатической службы, рассерженный тем, что его не назначили послом в Париж, хотя на этот пост ему давали полное право его происхождение, праздность, прекрасный слог дипломатических депеш и неумеренная страсть к наслаждениям. Сын, состоявший при отце секретарем, ушел вместе с ним – что тогда все считали безрассудством – и, несколько месяцев спустя унаследо-

---

<sup>16</sup> *Олбени* – меблированные комнаты на Пикадилли, в самом центре Лондона.

<sup>17</sup> *Изабелла II* (1830–1904) – испанская королева, была объявлена совершеннолетней и возведена на престол, когда ей исполнилось 13 лет. Отсюда становится ясно, что речь идет об испанской революции, потерпевшей неудачу в 1843 г. Во время революции 1868–1874 гг. Изабелла принуждена была покинуть Испанию.

<sup>18</sup> *Прим* – генерал Хуан Прим-и-Пратс (1814–1870), один из политических деятелей эпохи Изабеллы II.

вав титул, принялся серьезно изучать великое аристократическое искусство ничегонеделания. У него в Лондоне было два больших дома, но он предпочитал жить на холостую ногу в наемной меблированной квартире, находя это менее хлопотливым, а обедал и завтракал чаще всего в клубе. Лорд Фермор уделял некоторое внимание своим угольным копиям в центральных графствах и оправдывал этот нездоровый интерес к промышленности тем, что, владея углем, он имеет возможность, как это прилично джентльмену, топить свой камин дровами. По политическим убеждениям он был консерватор<sup>19</sup>, но только не тогда, когда консерваторы приходили к власти, – в такие периоды он энергично ругал их, называя шайкой радикалов<sup>20</sup>. Он героически воевал со своим камердинером, который держал его в ежовых рукавицах. Сам же он, в свою очередь, терроризировал многочисленную родню. Породить его могла только Англия, а между тем он был ею недоволен и всегда твердил, что страна идет к гибели. Принципы его были старомодны, зато многое можно было сказать в защиту его предрассудков.

В комнате, куда вошел лорд Генри, дядя его сидел в толстой охотничьей куртке, с сигарой в зубах и читал «Таймс», ворчливо выражая вслух свое недовольство этой газетой.

---

<sup>19</sup> *Консерватор* – человек консервативных убеждений, приверженец всего старого, отжившего; член консервативной политической партии.

<sup>20</sup> *Радикал* – сторонник крайних, решительных действий, взглядов; представитель национал-радикализма.

– А-а, Гарри! – сказал почтенный старец. – Что это ты так рано? Я думал, что вы, денди, встаете не раньше двух часов дня и до пяти не выходите из дому.

– Поверьте, дядя Джордж, меня привели к вам в такой ранний час исключительно родственные чувства. Мне от вас кое-что нужно.

– Денег, вероятно? – сказал лорд Фермор с кислым видом. – Ладно, садись и рассказывай. Нынешние молодые люди воображают, что деньги – это всё.

– Да, – согласился лорд Генри, поправляя цветок в петлице. – А с годами они в этом убеждаются. Но мне деньги не нужны, дядя Джордж, – они нужны тем, кто имеет привычку платить долги, а я своим кредиторам никогда не плачу. Кредит – это единственный капитал младшего сына в семье, и на этот капитал можно отлично прожить. Кроме того, я имею дело только с поставщиками Дартмура, – и, естественно, они меня никогда не беспокоят. К вам я пришел не за деньгами, а за сведениями. Разумеется, не за полезными – за бесполезными.

– Ну что ж, от меня ты можешь узнать все, что есть в любой Синей книге<sup>21</sup> Англии, хотя нынче в них пишут много ерунды. В те времена, когда я был дипломатом, это делалось гораздо лучше. Но теперь, говорят, дипломатов зачисляют на службу только после того, как они выдержат экзамен. Так

---

<sup>21</sup> *Синими книгами* (по цвету обложки) в Англии называются сборники документов, издаваемые с санкции парламента, в том числе родовые книги.

чего же от них ожидать? Экзамены, сэр, – это чистейшая чепуха, от начала до конца. Если ты джентльмен, так тебя учить нечему, тебе достаточно того, что ты знаешь. А если ты *не* джентльмен, то знания тебе только во вред.

– Мистер Дориан Грей в Синих книгах не числится, дядя Джордж, – небрежно заметил лорд Генри.

– Мистер Дориан Грей? А кто же он такой? – спросил лорд Фермор, хмуря седые косматые брови.

– Вот это-то я и пришел у вас узнать, дядя Джордж. Впрочем, кто он, мне известно: он – внук последнего лорда Келсо. Фамилия его матери была Девере, леди Маргарет Девере. Расскажите мне, что вы знаете о ней. Какая она была, за кого вышла замуж? Ведь вы знали в свое время весь лондонский свет, – так, может, и ее тоже? Я только что познакомился с мистером Греем, и он меня очень интересуется.

– Внук Келсо! – повторил старый лорд. – Внук Келсо... Как же, как же, я очень хорошо знал его мать. Помнится, даже был на ее крестинах. Красавица она была необыкновенная, эта Маргарет Девере, и все мужчины бесновались, когда она убежала с каким-то молодчиком, полнейшим ничтожеством без гроша за душой, – он был офицерик пехотного полка или что-то в таком роде. Да, да, помню все, как будто это случилось вчера. Бедняга был убит на дуэли в Спа через несколько месяцев после того, как они поженились. Насчет этого ходили тогда скверные слухи. Говорили, что Келсо подослал какого-то прохвоста, бельгийского авантюриста,

чтобы тот публично оскорбил его зятя... Понимаешь, подкупил его, заплатил подлецу – и тот на дуэли насадил молодого человека на свою шпагу, как голубя на вертел. Дело замяли, но, ей-богу, после этого Келсо долгое время ел в клубе свой бифштекс в полном одиночестве. Мне рассказывали, что дочь он привез домой, но с тех пор она не говорила с ним до самой смерти. Да, скверная история! И дочь умерла очень скоро – года не прошло. Так ты говоришь, после нее остался сын? А я и забыл об этом. Что он собой представляет? Если похож на мать, так, наверное, красивый мальчик.

– Да, очень красивый, – подтвердил лорд Генри.

– Надеюсь, он попал в хорошие руки, – продолжал лорд Фермор. – Если Келсо его не обидел в завещании, у него, должно быть, куча денег. Да и у Маргарет было свое состояние. Все поместье Селби перешло к ней от деда. Ее дед ненавидел Келсо, называл его скаредом. Он и в самом деле был скряга. Помню, он приезжал в Мадрид, когда я жил там. Ей-богу, я краснел за него! Королева несколько раз спрашивала меня, кто этот английский пэр, который постоянно торгуется с извозчиками. О нем там анекдоты ходили. Целый месяц я не решался показываться при дворе. Надеюсь, Келсо был щедрее к своему внуку, чем к мадридским извозчикам?

– Этого я не знаю, – отозвался лорд Генри. – Дориан еще несовершеннолетний. Но думаю, что он будет богат. Селби перешло к нему, это я слышал от него самого... Так вы говорите, его мать была очень красива?

– Маргарет Девере была одна из прелестнейших девушек, каких я видывал в жизни. Я никогда не мог понять, что ее толкнуло на такой странный брак. Ведь она могла выйти за кого бы ни пожелала. Сам Карлингтон был от нее без ума. Но вся беда в том, что она обладала романтическим воображением. В их роду все женщины были романтичны. Мужчины немногочисленны, но женщины, ей-богу, были замечательные... Карлингтон на коленях стоял перед Маргарет – он сам мне это говорил. А ведь в Лондоне в те времена все девушки были влюблены в него. Но Маргарет только смеялась над ним. Да, кстати о дурацких браках, – что за вздор молот твой отец насчет Дартмура, – будто он хочет жениться на американке? Неужели англичанки для него недостаточно хороши?

– Видите ли, дядя Джордж, жениться на американках теперь очень модно.

– Ну а я – за англичанок и готов спорить с целым светом! – Лорд Фермор стукнул кулаком по столу.

– Ставка нынче только на американок.

– Я слышал, что их ненадолго хватает, – буркнул дядя Джордж.

– Их утомляют долгие заезды, но в скачках с препятствиями они великолепны. На лету берут барьеры. Думаю, что Дартмуру несдобровать.

– А кто ее родители? – ворчливо осведомился лорд Фермор. – Они у нее вообще имеются?

Лорд Генри покачал головой.

– Американские девицы так же ловко скрывают своих родителей, как английские дамы – свое прошлое, – сказал он, вставая.

– Должно быть, папаша ее – экспортер свинины?

– Ради Дартмура, дядя Джордж, я желал бы, чтобы это было так. Говорят, в Америке это самое прибыльное дело. Выгоднее его только политика.

– А его американка, по крайней мере, хорошенькая?

– Как большинство американок, она изображает из себя красавицу. В этом – секрет их успеха.

– И отчего они не сидят у себя в Америке? Ведь нас всегда уверяют, что там для женщин – рай.

– Так оно и есть. Потому-то они, подобно прамати Еве, и стремятся выбраться оттуда, – пояснил лорд Генри. – Ну, до свидания, дядя Джордж. Я должен идти, иначе опоздаю к завтраку. Спасибо за сведения о Дориане. Я люблю знать все о своих новых знакомых и ничего – о старых.

– А где ты сегодня завтракаешь, Гарри?

– У тетушки Агаты. Я напросился сам и пригласил мистера Грея. Он – ее новый протеже.

– Гм!.. Так вот что, Гарри, передай своей тетушке Агате, чтобы она перестала меня атаковать воззваниями о пожертвованиях. Надоели они мне до смерти. Эта добрая женщина вообразила, что у меня другого дела нет, как только выписывать чеки на ее дурацкие благотворительные затеи.

– Хорошо, дядя Джордж, передам. Но ведь это бесполез-

но. Филантропы, увлекаясь благотворительностью, теряют всякое человеколюбие. Это их отличительная черта.

Старый джентльмен одобрительно хмыкнул и позвонил лакею, чтобы тот проводил гостя.

Лорд Генри прошел пассажем на Берлингтон-стрит и направился к Берклей-сквер. Он вспомнил то, что услышал от дяди о родных Дориана Грея. Даже рассказанная в общих чертах, история эта взволновала его своей необычностью, своей почти современной романтичностью. Прекрасная девушка, пожертвовавшая всем ради страстной любви. Несколько недель безмерного счастья, разбитого гнусным преступлением. Потом – месяцы новых страданий, рожденный в муках ребенок. Мать унесена смертью, удел сына – сиротство и тирания бессердечного старика. Да, это интересный фон, он выгодно оттеняет облик юноши, придает ему еще больше очарования. За прекрасным всегда скрыта какая-нибудь трагедия. Чтобы зацвел самый скромный цветок, миры должны претерпеть родовые муки.

...Как обворожителен был Дориан вчера вечером, когда они обедали вдвоем в клубе! В его ошеломленном взоре и приоткрытых губах читались тревога и робкая радость, а в тени красных абажуров лицо казалось еще розовее и еще ярче выступала его дивная расцветающая красота. Говорить с этим мальчиком было все равно что играть на редкостной скрипке. Он отзывался на каждое прикосновение, на малейшую дрожь смычка...

А как это увлекательно – проверять силу своего влияния на другого человека! Ничто не может с этим сравниться. Перелить свою душу в другую, дать ей побыть в нем; слышать отзвуки собственных мыслей, усиленные музыкой юности и страсти; передавать другому свой темперамент как тончайший флюид или своеобразный аромат, – это истинное наслаждение, самая большая радость, быть может, какая дана человеку в наш ограниченный и пошлый век с его грубо-чувственными утехами и грубо-примитивными стремлениями.

...К тому же этот мальчик, с которым он по столь счастливой случайности встретился в мастерской Бэзила, – замечательный тип... или, во всяком случае, из него можно сделать нечто замечательное. У него есть всё: обаяние, белоснежная чистота юности и красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки. Из него можно вылепить что угодно, сделать его титаном – или игрушкой. Как жаль, что такой красоте суждено увянуть!..

А Бэзил? Как психологически интересно то, что он говорил! Новая манера в живописи, новое восприятие действительности, неожиданно возникшее благодаря одному лишь присутствию человека, который об этом и не подозревает... Душа природы, обитавшая в дремучих лесах, бродившая в чистом поле, дотоле незримая и безгласная, вдруг, как Дриада<sup>22</sup>, явилась художнику без всякого страха, ибо его душе, давно ее искавшей, дана та вдохновенная прозорливость, ко-

---

<sup>22</sup> Дриада – лесная нимфа (гр. миф.).

торой только и открываются дивные тайны; и простые формы, образы вещей обрели высокое совершенство и некий символический смысл, словно являя художнику иную, более совершенную форму, которая из смутной грезы превратилась в реальность. Как это все необычайно!

Нечто подобное бывало и в прошлые века. Платон<sup>23</sup>, для которого мышление было искусством, первый задумался над этим чудом. А Буонарроти<sup>24</sup>? Разве не выразил он его в своем цикле сонетов, высеченных в цветном мраморе? Но в наш век это удивительно...

И лорд Генри решил, что ему следует стать для Дориана Грея тем, чем Дориан, сам того не зная, стал для художника, создавшего его великолепный портрет. Он попытается покорить Дориана, – собственно, он уже наполовину этого достиг, – и душа чудесного юноши будет принадлежать ему. Как щедро одарила судьба это дитя Любви и Смерти!

Лорд Генри вдруг остановился и окинул взглядом соседние дома. Увидев, что он уже миновал дом своей тетушки и отошел от него довольно далеко, он, посмеиваясь над собой, повернул обратно. Когда он вошел в темноватую прихожую,

---

<sup>23</sup> *Платон* (427–347 гг. до н. э.) – древнегреческий философ. Согласно его учению, идеи предшествуют вещам и явлениям мира; вещи и все сущее есть только подобие и отражение идей.

<sup>24</sup> *Буонарроти* Микеланджело (1475–1564) – великий художник и архитектор, выдающийся поэт. Его сонеты были переведены на английский язык в 1878 г. Джоном Саймондсом (1840–1893), поэтом, во многом разделявшим художественные верования и пристрастия Уайльда.

дворецкий доложил ему, что все уже в столовой. Лорд Генри отдал одному из лакеев шляпу и трость и прошел туда.

– Ты, как всегда, опаздываешь, Гарри! – воскликнула его тетушка, укоризненно качая головой.

Он извинился, тут же придумав какое-то объяснение, и, сев на свободный стул рядом с хозяйкой дома, обвел глазами собравшихся гостей. С другого конца стола ему застенчиво кивнул Дориан, краснея от удовольствия. Напротив сидела герцогиня Харли, очень любимая всеми, кто ее знал, дама в высшей степени кроткого и веселого нрава и тех архитектурных пропорций, которые современные историки называют тучностью (когда речь идет не о герцогинях!). Справа от герцогини сидел сэр Томас Бэрден, член парламента, радикал. В общественной жизни он был верным сторонником своего лидера, а в частной – сторонником хорошей кухни, то есть следовал общеизвестному мудрому правилу: «Выступай с либералами, а обедай с консерваторами». По левую руку герцогини занял место мистер Эрскин из Тредли, пожилой джентльмен, весьма культурный и приятный, но усвоивший себе дурную привычку всегда молчать в обществе, ибо, как он однажды объяснил леди Агате, еще до тридцати лет высказал все, что имел сказать.

Соседкой лорда Генри за столом была миссис Ванделер, одна из давнишних приятельниц его тетушки, поистине святая женщина, но одетая так безвкусно и крикливо, что ее можно было сравнить с молитвенником в скверном аляпо-

ватом переплете. К счастью для лорда Генри, соседом миссис Ванделер с другой стороны оказался лорд Фаудел, мужчина средних лет, большого ума, но посредственных способностей, бесцветный и скучный, как отчет министра в палате общин. Беседа между ним и миссис Ванделер велась с той усиленной серьезностью, которой, по его же словам, непротитительно грешат все добродетельные люди и от которой никто из них никак не может вполне освободиться.



– Мы говорим о бедном Дартмуре, – громко сказала лорду Генри герцогиня, приветливо кивнув ему через стол. – Как вы думаете, он в самом деле женится на этой обворожительной американке?

– Да, герцогиня. Она, кажется, решила сделать ему предложение.

– Какой ужас! – воскликнула леди Агата. – Право, следовало бы помешать этому!

– Я слышал из самых верных источников, что ее отец в Америке торгует галантереей или каким-то другим убогим

товаром, – с презрительной миной объявил сэр Томас Бэрдэн.

– А мой дядя утверждает, что свиной, сэр Томас.

– Что это еще за «убогий» товар? – осведомилась герцогиня, в удивлении поднимая полные руки.



– Американские романы, – пояснил лорд Генри, принимаясь за куропатку.

Герцогиня была озадачена.

– Не слушайте его, дорогая, – шепнула ей леди Агата. – Он никогда ничего не говорит серьезно.

– Когда была открыта Америка... – начал радикал – и дальше пошли всякие скучнейшие сведения. Как все ораторы, которые ставят себе целью исчерпать тему, он исчерпал терпение слушателей. Герцогиня вздохнула и воспользовалась своей привилегией перебивать других.

– Было бы гораздо лучше, если бы эта Америка совсем не была открыта! – воскликнула она. – Ведь американки отбивают у наших девушек всех женихов. Это безобразие!

– Пожалуй, я сказал бы, что Америка вовсе не открыта, – заметил мистер Эрскин. – Она еще только *обнаружена*.

– О, я видела представительниц ее населения, – неопределенным тоном отозвалась герцогиня. – И должна признать, что большинство из них – прехорошенькие. И одеваются прекрасно. Все туалеты заказывают в Париже. Я, к сожалению, не могу себе этого позволить.

– Есть поговорка, что хорошие американцы после смерти отправляются в Париж, – изрек, хихикая, сэр Томас, у которого имелся в запасе большой выбор потрепанных остроумий.

– Вот как! А куда же отправляются после смерти дурные американцы? – поинтересовалась герцогиня.

– В Америку, – пробормотал лорд Генри.

Сэр Томас сдвинул брови.

– Боюсь, что ваш племянник предубежден против этой великой страны, – сказал он леди Агате. – Я изъездил ее всю вдоль и поперек, – мне предоставляли всегда специальные вагоны, тамошние директора весьма любезны, – и, уверяю вас, поездки в Америку имеют большое образовательное значение.

– Неужели же, чтобы стать образованным человеком, необходимо повидать Чикаго? – жалобно спросил мистер Эрскин. – Я не чувствую себя в силах совершить такое путешествие.

Сэр Томас махнул рукой.

– Для мистера Эрскина мир сосредоточен на его книжных

полках. А мы, люди дела, хотим своими глазами все видеть, не только читать обо всем. Американцы – очень интересный народ и обладают большим здравым смыслом. Я считаю, что это их самая отличительная черта. Да, да, мистер Эрскин, это весьма здравомыслящие люди. Поверьте мне, американец никогда не делает глупостей.

– Какой ужас! – воскликнул лорд Генри. – Я еще могу примириться с грубой силой, но грубая, тупая рассудочность совершенно невыносима. Руководствоваться рассудком – в этом есть что-то неблагородное. Это значит – предавать интеллект.

– Не понимаю, что вы этим хотите сказать, – отозвался сэр Томас, побагровев.

– А я вас понял, лорд Генри, – с улыбкой пробормотал мистер Эрскин.

– Парадоксы имеют свою прелесть, но... – начал баронет.

– Разве это был парадокс? – спросил мистер Эрскин. – А я и не догадался... Впрочем, может быть, вы правы. Ну, так что же? Правда жизни открывается нам именно в форме парадоксов. Чтобы постигнуть Действительность, надо видеть, как она балансирует на канате. И только посмотрев все те акробатические штуки, какие проделывает Истина, мы можем правильно судить о ней.

– Господи, как мужчины любят спорить!.. – вздохнула леди Агата. – Никак не могу взять в толк, о чем вы говорите. А на тебя, Гарри, я очень сердита. Зачем это ты отговариваешь

нашего милого мистера Грея работать со мной в Ист-Энде? Пойми, он мог бы оказать нам неоценимые услуги: его игра так всем нравится.

– А я хочу, чтобы он играл для меня, – смеясь, возразил лорд Генри и, глянув туда, где сидел Дориан, встретил его ответный радостный взгляд.

– Но в Уайтчепле видишь столько людского горя! – не унималась леди Агата.

– Я сочувствую всему, кроме людского горя. – Лорд Генри пожал плечами. – Ему я сочувствовать не могу. Оно слишком безобразно, слишком ужасно и угнетает нас. Во всеобщем сочувствии к страданиям есть нечто в высшей степени нездоровое. Сочувствовать надо красоте, ярким краскам и радостям жизни. И как можно меньше говорить о темных ее сторонах.

– Но Ист-Энд – очень серьезная проблема, – внушительно заметил сэр Томас, качая головой.

– Несомненно, – согласился лорд Генри. – Ведь это проблема рабства, и мы пытаемся разрешить ее, увеселяя рабов.

Старый политикан пристально посмотрел на него.

– А что же вы предлагаете взамен? – спросил он.

Лорд Генри рассмеялся.

– Я ничего не желал бы менять в Англии, кроме погоды, и вполне довольствуюсь философским созерцанием. Но девятнадцатый век пришел к банкротству из-за того, что слишком щедро расточал сострадание. И потому, мне кажется, на-

ставить людей на путь истинный может только Наука. Эмоции хороши тем, что уведут нас с этого пути, а Наука – тем, что она не знает эмоций.

– Но ведь на нас лежит такая ответственность! – робко вмешалась миссис Ванделер.

– Громадная ответственность! – поддержала ее леди Агата.

Лорд Генри через стол переглянулся с мистером Эрскином.

– Человечество преувеличивает свою роль на земле. Это его первородный грех. Если бы пещерные люди умели смеяться, история пошла бы по другому пути.

– Вы меня очень утешили, – проворковала герцогиня. – До сих пор, когда я бывала у вашей милой тетушки, мне всегда становилось совестно, что я не интересуюсь Ист-Эндом. Теперь я буду смотреть ей в глаза, не краснея.

– Но румянец женщине очень к лицу, герцогиня, – заметил лорд Генри.

– Только в молодости, – возразила она. – А когда краснеет такая старуха, как я, это очень дурной признак. Ах, лорд Генри, хоть бы вы мне посоветовали, как снова стать молодой!

Лорд Генри подумал с минуту.

– Можете вы, герцогиня, припомнить какую-нибудь большую ошибку вашей молодости? – спросил он, наклонясь к ней через стол.

– Увы, не одну!

– Тогда совершите их все снова, – сказал он серьезно. – Чтобы вернуть молодость, стоит только повторить все ее безумства.

– Замечательная теория! – восхитилась герцогиня. – Непременно проверю ее на практике.

– Теория опасная! – процедил сэр Томас сквозь плотно сжатые губы. А леди Агата покачала головой, но невольно засмеялась. Мистер Эрскин слушал молча.

– Да, – продолжал лорд Генри. – Это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирают от ползучей формы рабского благоразумия, и все слишком поздно спохватываются, что единственное, о чем никогда не пожалеешь, это наши ошибки и заблуждения.

За столом грянул дружный смех.

А лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, давая волю фантазии, – он жонглировал ею, преображал ее, то отбрасывал, то подхватывал снова; заставлял ее искриться, украшая радужными блестками своего воображения, окрылял парадоксами. Этот гимн безумствам воспарил до высот Философии, а Философия обрела юность и, увлеченная дикой музыкой Наслаждения, как вакханка<sup>25</sup> в залитом вином наряде и венке из плюща, понеслась в исступленной пляске по холмам жизни, насмехаясь над трезвостью медлительного

---

<sup>25</sup> *Вакханка* – спутница и участница празднеств Вакха (одно из имен Диониса, бога виноградарства и виноделия).

Силена<sup>26</sup>. Факты уступали ей дорогу, разлетались, как испуганные лесные духи. Ее обнаженные ноги попирали гигантский камень давилъни, на котором восседает мудрый Омар<sup>27</sup>, и журчащий сок винограда вскипал вокруг этих белых ног волнами пурпуровых брызг, растекаясь затем красной пеной по отлогим черным стенкам чана.

То была блестящая и оригинальная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что Дориан Грей не сводит с него глаз, и сознание, что среди слушателей есть человек, которого ему хочется пленить, оттачивало его остроумие, придавало красочность речам. То, что он говорил, было увлекательно, безответственно, противоречило логике и разуму. Слушатели смеялись, но были невольно очарованы и покорно следовали за полетом его фантазии, как дети – за легендарным дудочником<sup>28</sup>. Дориан Грей смотрел ему в лицо не отрываясь, как замороженный, и по губам его то и дело пробегала улыбка, а в потемневших глазах восхищение сменялось задумчивостью.

Наконец Действительность в костюме нашего века всту-

---

<sup>26</sup> *Силён* – воспитатель и спутник бога Диониса, часто изображался в состоянии опьянения.

<sup>27</sup> *Омар* Хайям (ок. 1048 – после 1122) – персидский поэт, прославлявший наслаждение и земные радости.

<sup>28</sup> *Легендарный дудочник*. – В старинной немецкой легенде рассказано о флейтисте, который избавил город Гамельн от нашествия крыс, заманив их своей игрой в воды реки; когда городские власти отказались ему заплатить, флейтист увел за собой детей, бесследно пропавших. Существует много поэтических обработок этого сюжета.

пила в комнату в образе слуги, доложившего герцогине, что экипаж ее подан. Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки.

– Экая досада! Приходится уезжать. Я должна заехать в клуб за мужем и отвезти его на какое-то глупейшее собрание, на котором он будет председательствовать. Если опоздаю, он обязательно рассердится, а я стараюсь избегать сцен, когда на мне эта шляпка, – она чересчур воздушна, одно резкое слово может ее погубить. Нет, нет, не удерживайте меня, милая Агата. До свидания, лорд Генри! Вы – прелесть, но настоящий демон-искуситель. Я положительно не знаю, что думать о ваших теориях. Непременно приезжайте к нам обедать. Ну, скажем, во вторник. Во вторник вы никуда не приглашены?

– Для вас, герцогиня, я готов изменить всем, – сказал с поклоном лорд Генри.

– О, это очень мило с вашей стороны, но и очень дурно! – воскликнула почтенная дама. – Так помните же: мы вас ждем. – И она величаво выплыла из комнаты, а за ней – леди Агата и другие дамы.

Когда лорд Генри снова сел на свое место, мистер Эрскин, усевшись рядом, положил ему руку на плечо.

– Ваши речи интереснее всяких книг, – начал он. – Почему вы не напишете что-нибудь?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.